

№ 3

Русская речь

НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ
ИНСТИТУТА
РУССКОГО
ЯЗЫКА
АКАДЕМИИ
НАУК
СССР

1968

ОСНОВАН В 1967 ГОДУ
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МАЙ — ИЮНЬ МОСКВА

В номере

В. И. Борковский. Грамоты на бересте	3
ПОЭТИЧЕСКАЯ РЕЧЬ	
В. П. Григорьев. Год поэзии 1967	12
Э. Б. Магазаник. Имена собственные в художественной литературе.	23
ПОЛЕМИКА	
М. Н. Кожина. Речь или не речь?	26
Е. В. Невзглядова. В поисках верности стихотворного перевода	31
КУЛЬТУРА РЕЧИ	
В. Д. Гольдинер. Искусство судебной речи	37
Б. С. Шварцкопф. О культуре деловой речи	43
Б. З. Букчина, Г. А. Золотова. Слово на вывеске	49
ГРАММАТИКА, ОРФОГРАФИЯ	
В. В. Гуревич. Есть ли артикли в русском языке?	57
М. В. Арапов. «Отставной козы барабанщик»	59
М. К. Шарашова. Собственные имена или нарицательные?	61
И. Г. Добродомов. Хазары и русское правописание	63
ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ	
А. С. Львов. Невдомек. Нет. Опрятный. Приятный	65
В. В. Веселитский. Революция	68
А. А. Брагина. Кемпинг — кемпинговый	73

В. С. Филиппов. Скоморох, комедиант, лицедей, актер, артист . . .	74
И. С. Улуканов. Предыдущий :	75
Е. А. Левашов. Футбол и футболисть	77
ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ	
В. Я. Дерягин. Лингвистическая география	80
ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ	
С. Р. Варшавский. Неизгладимый след	92
ПАМЯТНИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА	
Л. Е. Лопатина. Тмутараканскому камню 900 лет	97
Н. П. Панкратова. «Письмовник» Курганова	99
Почта «Русской речи»	106

*При перепечатке
ссылка на журнал «Русская речь»
обязательна*



Грамоты на бересте

Член-корреспондент АН СССР
В. И. БОРКОВСКИЙ

Грамоты на бересте (березовой коре), обнаруженные в Новгороде археологической экспедицией под руководством профессора Артемия Владимировича Арциховского, в полной мере заслуживают определения: драгоценные памятники древнерусской письменности. Так я и назвал их, когда в 1951 году были найдены первые десять берестяных грамот.

Как известно, на Руси церковные книги, летописи, юридические памятники (грамоты, преимущественно договорные, своды законов) писались на пергамене — материале из телячьей кожи. Материал был дорогой, и это ограничивало возможность его применения в быту, для частной переписки. Книги на пергамене берегли, во время пожара их спасали в первую очередь, вместе с самыми дорогими вещами. Чтобы листы в книге не коробились, к верхней и нижней доскам, служившим своеобразной обложкой (эти доски обтягивались кожей или материей), прикреплялись застёжки или кожаные завязки. Сохранилась интересная запись в одной религиозной книге XIV века (даем ее в переводе на современный русский язык): «Если какой-нибудь поп или дьякон, прочитав, не застегивает всех застёжек, то пусть будет проклят». Несмотря на такое бережное отношение к книгам, их много погибло, главным образом во время пожаров, о которых упоминается в древнерусских летописях.

Существовал ли на Руси более дешевый материал, чем пергамен или бумага, которая появилась в середине XIV века и тоже продавалась по довольно дорогой цене?

Мы располагаем свидетельствами о весьма дешевом материале для письма, который был доступен каждому. Таким материалом была березовая кора — береста. Писатель и публицист конца XV — начала XVI столетия Иосиф Волоцкий рассказывал о Троице-Сергиевом монастыре второй половины XIV века: «То-

лику же нищету и нестяжание [бедность] имеаху, яко [что] въ обители блаженнаго Сергия и самыя книги не на хартиях [пергамене] писаху, но на берестехъ».

Вследствие дешевизны материала берестяные грамоты не хранили так тщательно, как документы и книги на пергамене. Если текст, написанный на пергамене, становился почему-либо ненужным, не представляющим интереса, то пергамен не выбрасывали, а текст соскабливали и писали другой. Берестяные ненужные грамоты за редкими исключениями не хранили. Текст, написанный на бересте чернилами, мог остаться, не исчезнуть бесследно лишь в тех редких случаях, если к грамоте не было доступа влаги. Так сохранилась золотоордынская берестяная грамота XIV века, найденная в 1930 году под Саратовом.

Рассчитывать, что в сырой почве Новгорода сохранятся чернила на бересте (или другом материале), было невозможно. И действительно, когда позже, в 1952 году, была найдена одна берестяная грамота, исписанная чернилами, ее нельзя было прочесть.

Надо отдать должное руководителю новгородской археологической экспедиции А. В. Арциховскому: он твердо надеялся, что будут обнаружены берестяные грамоты с текстом, сохранившимся благодаря каким-либо особо благоприятным почвенным условиям.

26 июля 1951 года первая такая грамота была найдена, но буквы на ней оказались не написанными чернилами, а процарапанными на специально подготовленной для письма бересте (ее варили в воде, обрезали со всех сторон). При раскопках были обнаружены и орудия письма — костяные, металлические и деревянные «писала», иногда в кожаных чехлах. Их находили на территории Руси и раньше, до того, как археологи увидели первую процарапанную берестяную грамоту, но ни у кого не возникало тогда предположения, что эти стержни — орудия письма.

А. В. Арциховский, опубликовав работу о берестяных грамотах из раскопок 1951 года, высказал уверенность, что они будут найдены не только в Новгороде, но и в других древнерусских городах, где сохраняются дерево и береста, а также в некоторых польских и чехословацких городах.

Уже в 1952 году была извлечена из земли берестяная грамота в Смоленске и там же в 1964 году еще две грамоты. В 1958 и 1962 годах найдены две берестяные грамоты в Пскове, а в 1959 году — грамота в Витебске, причем случайно, во время строительных работ. В настоящее время раскопки только в Новгороде принесли науке 445 берестяных грамот. О таком числе трудно было даже мечтать в начале раскопок.

Находка огромного числа грамот — неопровержимое свидетельство того, что грамотность в Древней Руси была широко распространена, что к письму прибегали в быту для самых разно-

образных целей. Большинство берестяных грамот — частные письма, авторы их — лица самых разных профессий, разного социального положения, мужчины и женщины, не только взрослые, но и дети.

Исключительно велико значение берестяных грамот для историка нашей страны. В ряде грамот говорится об определенных исторических событиях, о лицах, сыгравших значительную роль в жизни Новгорода и упомянутых в летописях. Грамоты дополнили те сведения, которые археологи получили, обнаружив многочисленные предметы быта. Письма новгородцев рассказали нам об их жизни, о горестях, повседневных заботах, хозяйственных делах, обо всем, что их тревожило, волновало. И особенно важно то, что среди авторов писем оказались ремесленники, крестьяне.

Велико значение берестяных грамот и для историка русского языка. Грамоты отражают живой разговорный язык народа с XI по XV век. В них мы находим интересные данные о звуковом составе, о грамматических формах русского языка указанного периода. Исследование лексики грамот расширило сведения о словарном составе древнерусского языка, преимущественно в области выражения обыденных, житейских понятий и обозначения предметов быта.

Особенный интерес представляют синтаксические явления. Грамоты почти свободны от литературной традиции, а потому наиболее полно (по сравнению с другими памятниками) свидетельствуют о синтаксических конструкциях, характерных для живого разговорного языка. Вот несколько примеров.

Грамота № 17 (по нумерации А. В. Арциховского), относящаяся к XV веку: «поклон(ъ) ѿ ми(хай)л(ѣ) к осподину своєму тимофию. земля готова надобъ сѣмана пришли осподине цлвкъ спроста. а мы не сміємъ імать ржи безъ твоего слова». Перевести эту грамоту — письмо приказчика к своему господину — не представляет особого труда, причем при переводе сохраняются синтаксические конструкции оригинала: «Поклон от Михаила к господину своему Тимофею. Земля готова — нужны семена. Пришли, господин, искренно (т. е. проявляя доверие к пославшему письмо) человека. А мы не смеем взять ржи без твоего разрешения».

В оригинале вызывало сомнение только одно слово: *спроста*. Понять его помогли не только примеры из памятников начала XVII века, где оно переводится как 'простодушно, без хитрости', 'искренно'. В современных говорах русского языка наречие *спроста* в числе других имеет значение 'без умысла или намерения'; 'без хитрости, простодушно'.

Следует вообще отметить, что данные говоров представляют исключительную ценность при выяснении различных языковых явлений в древнерусских памятниках. Многие слова, ушедшие



Грамота № 9

из русского литературного языка, сохранились в народных говорах, как сохранились и некоторые фонетические и грамматические явления далекого прошлого.

Все понятно и в берестяной грамоте № 43, относящейся к XV веку: «† Ѡ бориса. ко ностасии. како приде. са. грамота. тако. пришли ми. цоловѣкъ. на жерепѣ зане ми. здѣсе. дѣль. много. да пришли. сороцицю. сороциѣ забыле». Вот ее перевод, сделанный без обращения к древнерусскому словарю или словарям народных говоров: «От Бориса к Анастасии. Когда придет эта грамота, тогда пришли мне человека на жеребце, так как у меня здесь дел много. Да пришли рубашку: рубашки забыл».

Но далеко не все берестяные грамоты так легко переводятся. Много споров вызвала берестяная грамота № 9, написанная в XI или в первой половине XII века: «† Ѡ гостятъ къ васильви ѡже ми отьць даалъ и роди съдали а то за нимъ а нынѣ вода новоую женоу а мнѣ не въдасть ничьто же изби въ роуки поустилъ же ма а иноую поалъ доеди добрѣ сътвори».

Кто — Гостята, мужчина или женщина? Почерк — четкий, ясный, уверенный — мог принадлежать и мужчине и женщине, прошедшим хорошую школу письма. Большинство ученых сошлось на том, что это — мужчина, поскольку в древнерусских летописях и грамотах находим много мужских имен на *та*: Васята, Воята, Климята, Нежата, Петрята, Путята, Тешата и др. В этом случае, если признать *Гостята* мужским именем, в тексте сын жалуется на своего отца. Если же *Гостята* — женское имя (высказывалось и такое мнение), то в тексте жена сетует на бросившего ее мужа.

Переводим текст, предполагая, что Гостята — мужчина: «От Гостяты к Василию. То, что мне отец дал и родственники дали, а то у него (в его ведении, власти). А ныне взял новую жену, мне не отдал (рассматриваем *въдасть* как старинную форму прошедшего времени — так называемый *аорист*) ничего, избил, заставил подчиниться. Другую взял в жены. Приезжай, сделав (сделаешь) добро».

Как известно, в древнерусских памятниках текст сплошной, без отграничения слова от слова. Поэтому одна часть текста оказалась наиболее спорной: избивъ роуку поустильжема.

Выше у нас текст приведен с таким членением: *изби въ роуки поустиль же ма*. Мы полагаем, что словосочетание *въ роуки поустиль* допускает сопоставление со словосочетанием *ходити въ руку*, имеющим значение 'действовать в подчинении'. При таком сопоставлении и представляется возможным тот перевод, который дан нами.

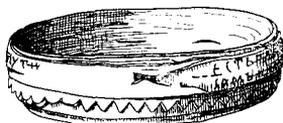
Ну, а если дать другое членение текста: *избивъ роуки поустиль же ма*? Тогда перевод будет совершенно другим, поскольку надо будет истолковать отдельно словосочетания *избивъ роуки* и *поустиль же ма*. Можно допустить, что первое словосочетание имеет не прямое значение (избив руки), а переносное. Такое предположение и было сделано Ф. Ф. Кузьминым, считавшим, что оно имеет значение 'нарушить свадебный договор', т. е. значение, противоположное *рукобитю* (о свадебном договоре). При указанной разбивке текста и *поустиль* переводится иначе: как 'прогнал' или даже 'развелся'. Для такого перевода дают основание древнерусские тексты, в которых глагол *поустити* в сочетании со словом *жену* имеет значение 'прогнать, развестись'. Последний перевод исходит, как видим, из предположения, что Гостята — женщина.

Мы привели два варианта членения текста, но возможен еще и третий, который был предложен одним из исследователей грамот: *и зби въ роуки поустиль же ма*. При таком членении *зби* сопоставляется со словом *събити* 'согнуть, прогнать', автором письма может быть и женщина и мужчина. Вызывает сомнение написание слова *зби* с буквой *з* вместо морфологически правильного *с*: грамота принадлежит лицу с твердыми орфографическими навыками. Так, автор — новгородец не смешивает *ц* и *ч*, что можно было бы ожидать у представителя новгородского говора: отъць, ничьто же.

Но не это главное. Даже малограмотный автор, живший в XI или в первой половине XII века, не написал бы *з* вместо *с* в слове *събити*: первые примеры перехода глухих согласных в звонкие перед звонкими засвидетельствованы лишь памятниками начала XIII века и позже.

Пример с берестяной грамотой № 9 показывает, что перевод грамот часто требовал очень большой работы: ознакомления со сходными текстами других памятников, обращения к словарям, знания быта, юридических норм далекого прошлого и т. д. Даже вдумчивый и осторожный в выводах исследователь не всегда может быть уверен, что его перевод точен.

Многие слова в берестяных грамотах обозначают предметы, вещи, о которых мы не знаем из других памятников. Приходится только догадываться о значении этих слов. В тех случаях, когда грамота оборвана и сохранилась лишь часть слова, само слово восстанавливалось лишь с той или иной степенью вероятности.



Грамота № 10

0 1 2 3 см

Особый случай — грамота середины XIII века (№ 292). В ней нельзя было понять ни одного слова, хотя автор применил русский алфавит. Прочел грамоту специалист не по русской, а по финской филологии — Ю. С. Елисеев. Выяснилось, что грамота написана на карельском языке. Это было настоящим открытием, так как данная берестяная грамота оказалась самым древним карельским памятником, на 600 лет старше, чем известные до сих пор тексты. Ее содержание — типичный заговор (заклинание) от молнии.

Иногда исследователю грамот приходится разгадывать и загадки, над которыми ломал голову новгородец XIV века. Такова загадка на полосе бересты, окаймлявшей берестяную чашечку (грамота № 10, XIV— начало XV века): «есть градъ между небомъ и землею а к нему еде посоль безъ пути. самъ нимъ везе грамоту неписану». В переводе это звучит так: «Есть город между небом и землею, а к нему едет посол без пути (дороги), самъ немой, везет грамоту неписаную». Известный специалист по древнерусской литературе В. П. Адрианова-Перетц дает следующее объяснение этой загадке, известной по рукописям и устной традиции: град — Ноев ковчег, посол — голубь, грамота неписаная — масляничная ветвь, оповещающая о прекращении потопа.

Выше мы сказали о том, что у лица, писавшего грамоту № 9, твердые орфографические навыки. Этим мы не хотим умалить значение грамот, в которых много отклонений от орфографических норм. Если грамоты без значительных отклонений от норм говорят нам о сложившихся общерусских традициях в письме, о некоторых общих для Древней Руси изменениях в языке и письме, то грамоты с «грубыми ошибками» — яркие документы для суждения о данном местном диалекте.

Можем ли мы с уверенностью утверждать, что в Древней Руси, в частности в Новгороде, были школы, где обучали письму, грамоте?

Летопись свидетельствует, что великий князь киевский Владимир Святославич, приняв христианство (около 988 года), сразу же «пославъ нача поимати оу нарочитое чади дѣти и дакти нача

на оученье книжное». Правда, здесь говорится о насильственном обучении только детей знатных людей (нарочитое чади), но ведь речь идет о самом первом этапе организованного обучения грамоте.

Прекрасно написанные книги на пергамене, говорившие о большом мастерстве писавших их лиц, позволяли предполагать, что «в Древней Руси, а затем и в Московской, не говоря уже о Литовской Руси, были и школы, где, кроме чтения, учили и письму» (см.: Е. Ф. Карский. Славянская кирилловская палеография. Л., 1928). Это предположение получило подтверждение в материалах раскопок в Новгороде.

Широкое распространение грамотности, о чем свидетельствует огромное число найденных грамот, говорит, несомненно, о наличии школ, где обучались не только дети «нарочитое чади».

Находки в Новгороде во время раскопок 1956 года познакомили нас с одним таким школьником — мальчиком Онфимом, жившим в XIII веке. Ему принадлежит ряд грамот: № 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210. Одна (№ 201) написана другим школьником, имя которого не указано. Некоторые из грамот Онфима заполнены неискренними рисунками (человечки с поднятыми руками, причем руки имеют различное число пальцев, лошадь и всадник на ней, какой-то страшный зверь), свидетельствующими о возрасте художника: 5—6 лет. На других грамотах Онфима — переписанный алфавит (то же и в грамоте неизвестного мальчика), склады (в старину учили грамоте по складам), отдельные тексты — религиозные и светские, которые служили для упражнений в чтении и письме.

Письмо на бересте путем вдавливания или процарапывания тонким орудием — «писалом» отличалось от письма гусиным пером на пергамене или бумаге. Гусиное перо лишь слегка нажимали, чтобы нанести чернила. При этом можно было сделать одну часть буквы более толстой, другую — более тонкой. «Писало» наносило при надавливании однородную линию, толщина которой зависела от того, каким было само «писало».

Таким образом, навыки письма на бересте отличались от навыков письма на пергамене или бумаге. Надо было специально учиться писать на довольно толстых кусках бересты. Можно было учиться писать на самой бересте, но можно было применить и другой способ — писать, предположим, на дощечке, смазанной воском. Воск вдавливается или процарапывается тем же «писалом» подобно тому, как это делается на бересте. Однако дощечка служит в отличие от бересты не один раз. Воск можно заглаживать и писать вновь. По-видимому, такие дощечки с воском употреблялись для обучения грамоте. Об этом свидетельствуют найденная в Новгороде в 1964 году деревянная дощечка, сделанная из можжевельника, с вырезанной на ней азбукой и еще раньше обнаруженные дощечки, одна из сторон которых имеет выемку для воска.

В школах, очевидно, прививалась и любовь к чтению. Грамотный человек хотел расширить свой умственный кругозор. Вот почему в одной из грамот XIV века (№ 271) ее автор Яков просит своего кума и друга Максима прислать для чтения интересную книгу: «да пришли ми чтения доброго».

Как мы отметили выше, берестяные грамоты — ценнейший материал для историка русского языка, которому они помогают сделать выводы об изменениях в русском языке в течение XI—XV веков.

Задача лингвиста была значительно облегчена благодаря тому, что грамоты, прежде чем попасть к нему, были изучены археологом — А. В. Арциховским. А. В. Арциховский первым читал грамоты, первым переводил их. Историки русского языка могли не соглашаться с ним, дать другое толкование тех или иных мест, но главная часть трудностей уже была преодолена до них. Заслуги А. В. Арциховского исключительно велики.

Говоря о значении берестяных грамот для истории русского языка, подчеркиваем, что все они относятся к одной территории — к Новгороду. Это дает возможность изучать особенности языка, характерные для определенной местности, к тому же сыгравшей большую роль в русской истории.

Грамоты свидетельствуют и о ряде общерусских явлений, в частности о судьбе так называемых редуцированных *ъ* и *ь*, обозначавших особые гласные звуки, но затем или перешедших (в одном положении) соответственно в *о* и *е* или (в другом положении, например, на конце слова) исчезнувших.

Берестяные грамоты подтвердили то, что мы уже знали из других сохранившихся (новгородских и неновгородских) памятников. В этом их огромная ценность. Они не поколебали сложившихся представлений о характере языковых явлений, об их хронологии, хотя и отражают живой русский язык древнего Новгорода.

Так, данные берестяных грамот о *ѣ* подтвердили свидетельство других новгородских памятников о нем как особом звуке и о более позднем изменении его в новгородском диалекте после мягкого согласного в *и* перед мягким согласным или йотованным гласным, а затем и перед твердым согласным (этот процесс завершился на рубеже XIV—XV веков): тимофию, не смѣмъ (№ 17); диклось (№ 154); сино (=сѣно, № 126).

Примеры с написанием *ѣ* на месте этимологического *ч*, а рядом и примеры с сохранением *ч* и с написанием *ч* на месте *ѣ* (редкие случаи) показали, что правильным является утвердившееся ранее мнение о неразличении в древнем новгородском диалекте *ѣ* и *ч*, что *ѣ* и *ч* совпали в одном звуке, близком к мягкому *ѣ*. В грамотах мы находим: *ѣто* (№ 25) вместо *что*, *ѣта* (№ 46) вместо *чита* — аорист глагола *читати* и др.

Следует отметить встретившиеся в берестяных грамотах XIV—XV веков в названиях лиц случаи со старой формой ви-

нительного падежа единственного числа, совпадающей с именительным падежом (при господстве новой формы, совпадающей с родительным): пришли осподине цлвкъ (ожидали бы *цлвк*) проста (№ 17, конец XIV—XV век); пришлите ми паробоко (= паробокъ. № 12, рубеж XIV—XV веков. Ожидали бы *паробка*) и др. Эти примеры позволяют считать, что на рубеже XIV—XV веков в живом новгородском говоре еще сохранились формы старого винительного падежа единственного числа названий лиц, возможно, после определенных глаголов.

Исключительный интерес представляет синтаксис берестяных грамот, поскольку большинство их резко отличается по содержанию от деловых официальных документов. Характерно то, что в берестяных грамотах сложноподчиненных предложений значительно больше, чем сложносочиненных. Это свидетельствует о широком распространении в живой разговорной речи сложных конструкций с подчинением.

Мы находим также предложения без союзов и относительных слов. Вспомним приведенные выше грамоты: № 17— «земля готова надобь сѣмана» (Земля готова — нужны семена); № 43— «да пришли. сороцию. сороциць забыле» (Да пришли рубашку: рубашки забыл).

В построении бессоюзных сложноподчиненных предложений особенно заметно влияние живой разговорной речи. Лаконичность и четкость их конструкций сохранялась и на письме, несмотря на отсутствие такого важного фактора, как интонация, и потому не было необходимости заменять бессоюзную конструкцию, по-видимому, широко распространенную в устной речи, союзной.

Мы привели лишь некоторые факты языка, о которых говорят берестяные грамоты. Исследованию всех многообразных фактов посвящены специальные монографии. Интерес к языку берестяных грамот не уменьшается, а увеличивается с каждым днем, с каждой новой успешной археологической экспедицией в Новгороде.

Научно-популярные книги

- Л. П. Жуковская. Новгородские берестяные грамоты. М., 1959.
В. Л. Янин. Я послал тебе бересту... М., 1965.

Монографии

- А. В. Арциховский и М. Н. Тихомиров. Новгородские грамоты на бересте. (Из раскопок 1951 г.). М., 1953.
А. В. Арциховский. Новгородские грамоты на бересте. (Из раскопок 1952 г.). М., 1954.
Палеографический и лингвистиче-

ский анализ новгородских берестяных грамот. М., 1955.

- А. В. Арциховский и В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте. (Из раскопок 1953—1954 гг.). М., 1958.
А. В. Арциховский и В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте. (Из раскопок 1955 г.). М., 1958.
А. В. Арциховский и В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте. (Из раскопок 1956—1957 гг.). М., 1963.
А. В. Арциховский. Новгородские грамоты на бересте. (Из раскопок 1958—1961 гг.). М., 1963.

Дорога поэзии 1967

...как всегда, хожу я много
По каменистому пути.

Л. МАРТЫНОВ

Чтоб проложить завидный путь
От ереси до аксиомы.

Я. КОЗЛОВСКИЙ

В поэзии, как и в науке, нет широких столбовых дорог, и только тот достигает ее сияющих вершин... Метафору о каменистых кручах мы теперь усваиваем еще на школьной или студенческой скамье. Во все времена эта мысль вдохновляла творцов на поиски и труд. Но у шоссе есть свои преимущества. Юношеская провинция по поводу того, что «умный в гору не пойдет», легко выветриваясь, нередко уносит с собой и метафорический и прямой смысл знаменитой формулы. И тогда «общее место» вечного поиска сдается на милость «житойской мудрости» проторенной дороги.

Как известно из истории, поиски истины (научной или художественной) слишком часто у наиболее упорных первопроходцев — у пионеров — заканчивались на кострах и в подвалах инквизиции. Все же никакие рогатки на пути познания не мешали пророческим словам: «Пионер — всем ребятам пример» — закрепиться на обложках школьных тетрадей. И в наши дни, применяя метафору Маркса к поэзии юбилейного года Страны Советов, мы мо-

жем с удовлетворением сказать, что «находиться в поиске» стало для поэта нормальным состоянием.

Торят свою тропу, пробиваясь к художественной истине, не одиночки, а многие десятки советских поэтов. Далеко не все они представлены в сборнике «Депь поэзии. 1967», но требовать от него «всеобщего охвата» было бы несправедливо. Попробуем оценить то, что есть в этом сборнике, помня, что поэтические тропы связаны не только с маршрутами, но и со «способами передвижения», скажем, с метафорами, и что образ в поэзии неотделим от слов, его воплощающих.

Общая оценка сборника дана в заметках Ал. Михайлова «На полувековой орбите» («Литературная газета», 20 декабря 1967). Она не лишена противоречий. Критик считает, что «есть все основания быть довольным» сборником. Ведь в нем «немало... даже очень хороших стихотворений». Что же касается слабых, то «при всей строгости критериев отбора, этого избежать не удастся, и, возможно, в скором времени не удастся». Автор не говорит, почему «не удастся», но такой ход рассуждения приводит его к выводу

ПОЭТИЧЕСКАЯ РЕЧЬ

о том, что общий уровень поэтической культуры в сборнике «довольно высок».

Подобные критерии оценок представляются сейчас недостаточными. Не только потому, что, как сказано в заметках, ни одно стихотворение сборника не вызывает «потрясений от пронизывающей мозг мысли, от сжигающей душу страсти, от высоты трагедии». Дело прежде всего в том, что густая шевелюра прошлых успехов не гарантирует поэта от облысения, что поэтические удачи не должны вуалировать глухоту к слову, а скороспелки — служить «нагрузкой» для выношенного.

«Общий уровень», нивелирующий такие строки, как «Но ударила гроза По тебе прямой наводкой» (С. Марков), «Как в Оптиной, перевелось И старчество в литературе» (М. Зенкевич), «только свежие раны в цене» (Б. Окуджава), «обвалы срама и раскаты славы» (М. Алигер), или «российский попугай — снегирь» (И. Сельвинский), «акцент тбилисских воробьев» (Ю. Ряшенцев) и «сядь подальше от экрана, чтоб осколок не задел» (А. Николаев), с одной стороны, и «Эти строки охапкой маков Я бросаю к вашим ногам» (К. Лисовский), «В эпоху ярости и бури» (М. Зенкевич), «Это были счастливицы. Те, которые даже Встретились в красоте Ленинградского Эрмитажа» и «Ее письма все прибавляли вес» (Л. Опанин), «лишь гремят эшелоны зерна... Да стучат на путях поезда» (Ю. Панкратов) — с другой, объединяет несоединимое. Его необходимо дифференцировать, т. е. заняться тем, чего не сумела сделать редколлегия.

Хвалить поэтов приятнее, чем указывать им на слабые места. Вероятно, поэтому Ал. Михайлов предпочел процитировать такие строчки из стихотворения Ю. Панкратова: «...горит над задумчивым зданьем Фиолетовая звезда, перемигиваясь с мирозданьем...». Хотя никакой «космической темы» здесь нет, критик с юбилейным пафосом заключил, что у Панкратова «сквозит нетерпеливое желание приблизить Землю к другим планетам» (!) и что у него «есть твердое ощущение почвы под ногами, хорошо подготовленная стартовая площадка, откуда можно вести разведку Космоса». Между тем вот продолжение и концовка этого стихотворения: «Но, вращенье Земли тороя, все забылось бы, все потерялось, если б только у сердца тебя, моя родина, не оставалось!». Невнятное замечание критика об «однообразии приемов» у Панкратова оборачивается прямой индульгенцией поэтической невнятице.

Как ни парадоксально это звучит, но гвоздем «Дня поэзии. 1967» можно назвать его прозу и его публикации. Потрясает читателя письмо Ларисы Рейснер Анне Ахматовой. Страницы воспоминаний А. Ахматовой о Модильяни — одни из лучших в сборнике. Если отметить, что составители очень уместно напомнили о словах Ольги Берггольц «Никто не забыт и ничто не забыто», сделавшихся крылатыми, и что здесь же опубликовано блестящее стихотворение Марины Цветаевой «Маяковскому», где до «небес поэзии» подняты сапоги, в которых поэт «всех народов горя гору» брал и «бросался в комму-

низм», — то не будет преувеличением сказать, что героями, вернее героинями «Дня поэзии. 1967» оказались четыре такие разные женщины. Этим в общем-то случайным обстоятельством как бы символизируются неуывдаемая романтика и рыцарский дух пятидесяти революционных лет.

Но в сборнике заключено противоречие, на котором надо остановиться подробнее. Высокая требовательность отличает «круглый стол» поэтов и критиков. Говоря о проблемах гражданственности поэзии, авторы этого раздела резко выступают против мнимогражданственной «эраца-поэзии», вспоминают бессмертного Никифора Ляписа-Трубецкого и поддерживают требования «поэзии многозначной, дающей возможность различных толкований» (Е. Осетров). При этом они не просто подчеркивают необходимость для поэзии «исследовательского пафоса». «Воспитание человечности, уважения к личности, чувства ответственности — вот в чем выражается гражданственность в поэзии»; «...гражданские стихи, это те, что воспитывают „чувства добрые“» (Л. Лазарев). Ст. Куняев цитирует крылатые слова А. Платонова «без меня народ неполный» и, критически относясь теперь к «словесно лихой, но абстрактной и безличной форме» своего собственного афоризма «Добро должно быть с кулаками», с полным основанием бичует стихи, которые ничего не открывают, ничего не отвоевывают, а лишь повторяют «общие мысли» и подтверждают «общие места».

Одна тема «круглого стола» особенно заострена. В. Кожинев вспо-

минает о печальной судьбе Собачьей площадки и московского ампира, противопоставляя эту драму легкомысленному стихотворному вандализму и безответственности «администраторов от архитектуры». Ссылаясь на мудрые слова М. Пришвина, критик справедливо утверждает, что для поэта-гражданина невозможно приспособляться к «временным мерам».

Покинем теперь границы этого раздела и посмотрим с позиций его «сознания» на «бытие» сборника. Несомненно, стихотворные циклы и стихи П. Антокольского, Л. Мартынова, Н. Рыленкова, Н. Ушакова, В. Катаева, А. Межгрова, Е. Винокурова, К. Ваншенкина и многие другие внушают уважение и вызывают интерес. Вероятно, внимательный анализ обнаружит в них и некоторые слабости. (Так, строй и интонация «Баллады тридцатых годов» Н. Рыленкова напоминают скорее о двадцатых годах, а слово у Е. Винокурова не всегда оказывается в полном согласии с мыслью.) Но они гражданственны по-настоящему, без скидок. Не о них сейчас речь.

В сборнике бросаются в глаза афоризмы, едва ли совместимые с приведенными выше справедливыми требованиями и суждениями критиков и составителей. Отметим три наиболее ярких случая. «Всё под звездами заменимо — И былинка и человек» — такова четкая формула П. Сидоренко. Конечно, сам поэт вправе считать себя винтиком. Это даже может делать ему честь. Очевидно, не стоило распространять заменимость на всех и вся. И уж совсем непростительно критику оценивать такие строки, как «духотворенные при-

сутствием человека». Очень жаль, что В. Звягинцева неосмотрительно противопоставила боль и горе отдельного человека величию Родины. Слишком риторичен и холоден рецепт поэтессы: «Гордись страны своей славой, Прямой дорогой её. Ни беды твои, ни хвори Не будут тогда страшны,— Рассмотрись ли каплю (!) в море, В кипенье его волны!». Наконец, явно противоречит пионерскому «безумству храбрых» такая обобщающая метафора Н. Грибачева: «Высот, где закрепиться невозможно, Не занимай, чтоб не казаться вспять».

«Тридцать лет назад» М. Алигер, «Ростовские звоны» М. Матусовского и «Храмы» Н. Глазкова затрагивают другую тему, поднятую за «круглым столом». Но если первые два автора вполне солидарны с критиками, то Н. Глазков усматривает родство «комсомольцев тридцатых годов» и «комсомольцев сегодняшних дней» именно в том, что те «древний храм сокрушали ломанами», а эти «золотят купола и кресты». Бесстрастное объединение бескультуры и культуры попросту дискредитирует последнюю. Показательно, что и в «Бывших соседках» О. Дмитриева его бесхитростные героини «по домишке у Арбата Радостные справили поминки», а поэт ни на дюйм не поднялся над их «беспечальным полднем». Понятно, что хотел сказать П. Железнов, которому кажется «драгоценней памятников древних над братскою могилой обелиск» у подмосковного шоссе. Но инерция привычного противопоставления сделала мысль автора неточной, в поэтическом и историческом смысле — не совсем верной.

К удачам сборника надо отнести стихи «Над домом» и «Штраф» всегда отличимого по языку и ритму А. Межирова, все четыре стихотворения Б. Окуджавы (особенно «Письмо Антокольскому» и «Тиль Уленшпигель»), «Воспоминания о Павле Когане» Б. Слуцкого, прямо хрестоматийное «Вадиму Каплину, медвежатнику» А. Яшина и «Три минуты молчания» Я. Вассермана. Все они могут украсить новые книги поэтов.

Особо следует сказать о Е. Винокурове. Два из пяти его стихотворений, помещенных в сборнике, упоминают интеллигентов — не таких уж частых гостей нашей поэзии. К ним примыкает и стихотворение «Честность»:

Легко на бредущем герою...
Рукой дрожащей, тих и мал,
Я знамя честности порою
Трагическое подымал.

Ал. Михайлов, цитируя эти строки, видит в них «необычайно высокий нравственный критерий». Но читателя не оставляет ощущение какой-то нечеткости, если не компромисса: Поэт — и «тих и мал», «знамя честности» — и «порою». Ответить порою к трагическое, а не к подымал мешает словорасположение и отсутствие знаков препинания. Поэт как бы оправдывается формой прошедшего времени глагола, но судить о стихотворении следует по критериям настоящего времени, даже будущего.

В «Голой правде» Е. Винокурова — такой же диссонанс:

Пусть кто-то сказку любит...
Я ж рад,— исподтишка
Коль истина проступит,
Как шило из мешка!

Пушкин в заметках на полях стихотворений Батюшкова отмечал, что в строчках *И гордый ум не победит Любви, холодными словами* «Смысл выходит — холодными словами любви — запятая не поможет». Запятая, даже усиленная тире, не помогает и здесь: получается, что поэт исподтишка радуется. Но позиция поэта здесь ясна. Какова же она? Радость по поводу того, что кому-то не удалось упрятать истину? Только-то? Между тем, как хорошо сказал А. Смольников, «тот трубач, что в бой нас вел с тобою, Он всё трубит — и нет пути назад».

Последние повести В. Катаева вызвали интересную полемику в журнале «Вопросы литературы» (1968, № 1). Не только общий идейный смысл, но и словесная форма новых стихотворений Е. Винокурова могут углубить начавшуюся дискуссию. Вероятно, не будет обойдена критикой в этой связи и мужественная, но недосказанная стихотворная новелла Г. Глазова «Давнее». Поэт ведет свою исповедь на своеобразном смешанном языке — то юнца, то зрелого человека; несобственно-прямая речь прошлого только в самом конце уступает место выражению сегодняшних чувств автора. Это заставляет ожидать дальнейшего развития драматической темы.

Если не отступать от критериев «круглого стола», то такие запоминающиеся строчки Н. Тихонова, как «в памяти, в лесу воспоминаний, Снег оседает, тает старый лед» и «прошлого весенние просторы Необозримо мне возвращенья», не позволяют обойти спорный образ, которым поэт закапчивает стихотворение «Яма в пригородном саду»: «А мимо

жизнь гремит, цветет, сверкает, Как новый танк на боевом ходу!». Здесь две неточности: цветущая... мимо, очевидно, мирная жизнь как-то обедняется сугубо военизированным сравнением.

Настоящая поэзия может убедить человека во многом: в справедливости революции и в сходстве между космосом и микромиром, в реальности «Лесного царя» и символической картины будущего, где боги грома «играют мирно в шашки». Но фальши она не терпит так же, как и наука, а задача критики — отметить и неверные ноты. Трудно поверить, например, риторическому воспоминанию А. Гатова: «А в зал тогда Артем вошел как раз — ...И мне казалось — весь (!) рабочий класс Вошел в тот вечер в харьковскую залу». Еще можно представить себе наглядно совесть, которая у Н. Грибачева «воздух ртом хватала — Как в мутт шла». Но вот внешне броский образ И. Кравченко: «важные чайки, как чайники, тихо на плитах скучают и с перьев счищают прилипший к ним сор» — внутренне противоречив. У Я. Козловского нарочито, как полуанекдотическое реченье в словаре, звучит игра на омонимах: «И прежний смысл вдруг обернется новым: То „Лист опал“, то „Глянь, какой опал!“». Пожалуй, не только педант может оспорить строчки Ст. Куняева: «и это, видно, навсегда со мной, как пальцев отпечатки».

За «круглым столом» В. Туркин, справедливо восставая против «талантивого мелкоземья» и подчеркивая необходимость «взаимобогащения поэзии с наукой», все-таки противопоставил их на том ос-

повали, что «поэзия не могла открыть законы социального счастья. Это делала, накапливаясь, материалистическая, марксистская наука». Между тем поэзия и не претендует на открытие законов в этом смысле. Художественное познание — особый вид познания жизни. Но, скажем, о чувстве любви или о том, «чем должно быть на свете», наука и в наши дни может сообщить человеку нечто художное по сравнению с тем, что говорит ему поэзия своим языком.

Другой критик там же утверждал: «Новые оригинальные идеи в поэзии, увы, очень редки. Это случается тогда, когда поэзия предвосхищает дух событий и развитие духа нации». Но именно в этом и заключается роль поэзии, которая вся обращена в новое, в будущее, в «неизвестное». Она не просто помогает «утверждению» идей, заимствованных ею у философии; эту задачу в конце концов могли бы выполнить постоянно обновляемые средства публицистики. Открывая и рисуя нравственный идеал, представляя человеческую личность — в собственном «я» автора, в его героях и картинах — воплощением высоких нравственных ценностей, без которых не может существовать и общество в целом, поэзия как наиболее чуткая из всех надстроек дает на своем языке обществу множество новых идей. Без этого она просто перестала бы быть поэзией, а поэтический язык свелся бы к элементарному украшательству.

«Строить, созидать можно только на утверждении, вере, а не безверии. На вере в коммунизм. На убеждении», — так закончил свое выступ-

ление за «круглым столом» В. Субботин. Сказано ярко. И все же не будем забывать, что вера часто противостоит не только безверию, но и знанию. Поэзия и наука — сестры по духу, а не соседки по квартире. При всех различиях между языком науки и языком поэзии оба они имеют один и тот же ориентир: непознанное.

Далеко не всякая объективно фальшивая нота в стихе непременно свидетельствует о неискренности поэта, но фальшь в поэзии всегда выдает себя неверными словами. Поэт воспевает падающие звезды, они кажутся ему «человеческими», космическими кораблями, он доверчиво ловит ладонью «снежинку теплую звезды». Но далее автор, В. Цыбин, возводит поэтические условности в исповедание веры: «Верую, Душою всей приемлю — Наискось, Развернув небосвод, Ни одна падающая на землю, Ни одна звезда не упадет». Пафос, прямолинейная вера поэта разбиваются о его собственное знание. Читатель видит, что с ним играют. Он оставляет за поэтом право противоречить самому себе и с полной надеждой обращается к стихам В. Шаламова, который на «чистом воздухе» разгадывает «предельно ясные» январские звезды: «Творенье звездного поэта Я перевел на наш язык». Этой метафорической гиперболе веришь, в частности, и потому, что язык стихотворения весь поставлен на службу чувству и мысли, своеобразной логике поэзии, не нуждающейся в пустых словах, о которых нам еще придется говорить.

Следя тем же критериям «круглого стола», мы должны, очевидно, судить и о «Комсомольских буднях»

вится заполнителем ритмических и смысловых пустот. Впрочем, едва ли не любое слово, не встречая сопротивления у поэта, рискует не сработать в стихе: и перечисленные выше, и слова *зримо*, *порука* и *потомство* в сборнике постигла именно такая судьба.

Ни сравнения, ни другие способы образного использования слова не составляют здесь исключения. Чтобы сказать: «Потрясающие полвека! Эти цифры как птицы пад миром летят», — не требуется особого усилия; сравнение лежит под рукой. Такие же готовые детали — «глаза, наполненные влагой» или фраза «колеса нашептывали ему». Иногда это сам поэтический ход: «И черная размокшая земля О самой ранней юности напомнит. О том, что жизнь была ко мне щедра, В лицо и спину ливнями хлестала. О том, что горя, песен и добра, Любви и хлеба черного хватало». *Черная земля* нестандартно перекликается здесь с *хлебом черным*. Все же остальное, пожалуй, как писал Н. Асеев: «многократным повтореньем охлажденные слова».

Мне хочется предложить читателям отыскивать в стихотворной продукции 1968 года все штампованные — с их точки зрения — детали поточного поэтического производства и сообщать о них в редакцию «Русской речи». По результатам таких коллективных розысков, вероятно, можно было бы подготовить любопытную обобщающую статью. Интерес представили бы массовые наблюдения и над другими просчетами стихотворцев, а также, конечно, сообщения об удачах в борьбе поэтов со словами. В «Дне

поэзии. 1967» Б. Слуцкий, пожалуй, излишне сурово оценил возможность таких удач:

Поэзия прибавляет хорошее
стиха по четыре в год (со всех),
а прочее застилает порошею
забвения.
Белый забвенный снег.

Требовательность поэта понятна. Но удачей может быть и четверостишие, и строчка, и отдельное точно найденное слово. Бой серости и скуке следует давать во всеоружии поэтических достижений. А их у нас тоже немало.

Материалом поэзии было и остается слово. Естественно, что предметом поэтических раздумий становится и сам этот материал. В «Дне поэзии. 1967» мы находим и размышления поэтов над словом. Пусть не все согласятся с Н. Грибачевым, убежденным, что «Мир станет мертвым, став глухонемым, И глухим, если поглупеет слово»: «глупеют все-таки скорее люди, а не слова; но роль слов здесь предельно заострена. Я. Козловский подчеркивает другой момент: «И тот велик, кто не мечом, а словом Брал крепости и земли покорял». И. Лиснянская пишет о «целебном яде» слов, сравнивая творчество поэта с ремеслом змеелова. Б. Окуджава ненавидит слова, которые «кулачками ударяют в медную грудь, разевают ротиками розовые, чтоб крикнуть трубно, слова, которым так хочется меня обмануть, хотя меня давно обмануть уже трудно». А Е. Николаевская оживляет внутреннюю форму слова *сбор*: «Сбор — затем, чтоб собираться Без долгих сборов, Чтоб друг от друга не запирались На сто запоров».

Внимательный читатель заметит в стихотворении М. Турсун-заде одну странную рифму: очей — книгочий. Это не тот случай, когда поэт сознательно прибегает к так называемым диссонансам типа *слово — слева — слава* (В. Маяковский) или *любимое — думая, золотые — туя, на лодках — ветку, великаны — незаконный, чалмой — почему, рыбаки — вдалеке, Одиссея — косое* (В. Хлебников). У слова *книгочий* — особая судьба. Его нелегко найти в справочниках, а «Орфографический словарь» дает только в таком историческом написании. Между тем если мы и употребляем это слово, то обычно в новой форме: *книгочей*. Так поступил в данном случае и переводчик, но редактор (или корректор) настоял на «правильной» форме, и рифма разрушилась. В свое время А. Вознесенскому в «Лонжюмо» удавалось отстоять рифму *книгочей — трудней*. А в повести А. и Б. Стругацких «Как трудно быть богом» исправленные формы *книгочий* не совсем мирно сосуществуют с «неправильными» формами *книгочей, книгочая и книгочиев*. Очевидно, «Орфографическому словарю» придется все-таки допустить в хорошее общество и этот удручающий пуристов вариант. (Подробнее о слове *книгочей* см. статью В. В. Лопатина и Б. С. Шварцкопфа в предыдущем номере «Русской речи».)

Не всегда можно с уверенностью сказать, воспользовался поэт готовым образом или нашел новый. Предположим, что нам понравились в сборнике такие строчки: «серп луны над ним, как зыбка, Плывет подвешенный к звезде» (М. Дудин),

«лет в пятнадцать, как Павел за Тоней, я ходил по лесничеству чувств» (В. Урин), «созвездья лесной костяники» (И. Харабаров), «роща птичьих голосов» и «шеломы скирд» (Л. Решетников). Понятно, что в них может правиться. Но реальная ценность отдельных строк зависит не только от той роли, которую они играют в поэтическом мире авторов. Сама эта роль на поверку может оказаться заемной, а понравившаяся строчка — мнимым открытием. Безапелляционно высокие (впрочем, как и низкие) оценки легко могут подвести. Если образ вызывает в памяти иной, уже известный, то прежде всего надо убедиться, что это не сознательное намерение автора, а его действительный просчет или слабость. Читая в стихотворении М. Демина: «И — гляжу я в ночь. И может, где-то кто-то смотрит на мою планету, тоже смотрит, тоже — в ночь такую — о мирах неведомых тоскует...», — мы вспоминаем оригинал — стихотворение Н. Заболоцкого «Когда вдали угаснет свет дневной» и, не находя в тексте указаний на сознательную переключку, очевидно, можем оценить его как копию или эхо. Но и здесь осторожность в заключениях не помешает. Так, сопоставив строчки О. Дмитриева «Майор влюблен. Осенние цветы К себе он, как ребенка, прижимает» с известным образом К. Симонова «кринки несли нам усталые женщины, Прижав, как детей, от дождя их к груди», не стоит настаивать на прямом заимствовании. Гораздо раньше у Э. Багрицкого уже «Как рыжих младенцев, несут крестьянки Прижатые к сердцу кала-

чи». И трудно ручаться, что у него не было предшественников. Сравнения такого рода стали всеобщим достоянием; они коварны, потому что как будто «освобождают» поэта от серьезной работы над словом.

Наверное, не один читатель зашнестся о формы *проживаю* в значении 'живу' (И. Фаликов) или *длишь* (Г. Корни), о жаргонизм *тяж* в значении 'боксер тяжелого веса' (И. Шкляревский), о конструкции «меж раем и меж адом» (И. Кашежева) или «на сферической нашей обители» (П. Грушко), о выражении «серых глаз удалой *распал*» (Л. Ошанин), о словосочетании *гурный рог* и *почи анапест* (М. Дудни). При всем различии этих примеров не так уж трудно разобратся, какие из них оправданы замыслом, а какие обнаруживают ошибку, просчет или недостаток вкуса.

Может оказаться не в ладах со вкусом и неизбежный в творчестве риск. Поэты обычно стараются не давать пародистам пищи для иронии, обходя опасную зону. Обычно, но не всегда. Так, Р. Казакова, которую полюбившийся ей «образ тоста» уже ставил на грань автопародии, продолжает настаивать на своем. «Душа моя,— пишет она,— дрожжиночка моя, я на тебе возшла, как на опаре». Почки в майских лесах набухают под ее пером, «как водолазы». Это еще случаи не бесспорные. Когда же Р. Казакова как будто специально помогает пародисту вырвать из контекста само по себе комично звучащее признание:

Малюю что-то несусветное
Незагорелую погой,—

то мы должны отдать должное мужеству поэтессы. Ведь даже явно слабые строчки И. Фаликова: «Российские женщины — вечные яни — без просьбы и сами являются нам» — на пародию все-таки, пожалуй, рассчитывать не могут. Но смелость Л. Щипахиной: «Оставляйте, люди, потомство!» — по-видимому, превосходит допустимые нормы автородности.

Сосредоточив основное внимание на недостатках сборника, отметим теперь в заключение и довольно многочисленные частные находки (при всей возможной неточности их выявления). Многого из сборника хочется цитировать, и почти каждая такая цитата, как и упомянутые уже стихотворения или циклы, достойна комментария. За недостатком места придется ограничиться далеко не полным перечнем.

Вот у Р. Бернадского говорит броненосец: «Мой форштевень сломали, но дух не сломали». Вот Л. Папшельбаум называет ГОЭЛРО «планом прозрения». Стихотворения о комиссарах далекой гражданской войны В. Савельев *закапчивает* словами: «я судьбу примеряю к прервавшимся судьбам и строку в комиссарской держу чистоте». Вот четверостишие Г. Горпостаева: «А тарелки буферов В тишине поселка По порядку номеров Рассчитались громко». Много точно расчисленных деталей и неожиданных образов в стихотворениях В. Катаева. К. Ваншенкин сказал о войне, что мы «прошли ее навывлет». Л. Васильева удачно обыграла антонимы: «О, эта проклятая сила, что слабостью принято звать!» Она умело находит меткие слова: «все ступени

пролистая» и «обладатель самой веской и разменной словесины». С последним образом хорошо контрастирует сравнение Е. Винокурова: «Но честное вдруг било слово, Как будто молния из тьмы».

Только одно место приведем из «Трех горских тостов» Р. Гамзатова: «— Пусть будет хорошо хорошим людям, И по заслугам плохо — всем плохим!». Не обойдем и О. Дмитриева, сказавшего сыну о теленке: «И мягко живая природа Уткнется в ладошки тебе...», и Т. Жирмунскую, у которой в «Гаврилове Посаде» «окало оконное стекло, окало округлое корыто». В. Звягинцева обращается к тем уже прославленным поэтам, «кто не любит пышных слов»: «Я с вами силою не мерюсь, Но вашу благодарно чту». Образ В. Кострова: «чья-то судьбы семафор разрубит коротко и просто, как палач» — сильно выиграл бы по явись он еще до электрификации многих железных дорог.

Надо отметить хотя бы «я самозабвенно молод» у Ст. Куняева и «южную юность мою» у И. Лиснянской. Любопытно, что «всяческие Леты минувших лет» у последней перекликаются в сборнике со строчкой Б. Слуцкого «Лето кануло в Лету...». Но действительно ли это новые образы? Такой вопрос возникает не только здесь, но он не мешаает, пока остается без отрицательного ответа, упомянуть и «протяжный набат ледохода» у Н. Сидоренко, и «сердце замирает, как взрывчатка» у А. Смольникова, и «Рояль чернеет, как полынья!» у И. Шкляревского.

В сборник включен раздел «Вечер одного стихотворения». В нем

также есть, что дополнительно подчеркнуть: «По легким лесенкам апреля переливается ручей» (Н. Ушаков), «И шумит судебный зал, Слово каменный колодец» (С. Марков). Вот провикновенные слова Е. Стюарт: «Мне очень горько от печальных строк, Что иногда ложатся на бумагу... Я знаю, что уже недолог срок — Я, как они, но только в землю лягу». Можно поздравить Ю. Ряшенцева: «Живет без отчества поэт (не всякий раз, но часто!). Пускай кому-то подчинен, но никому на свете он зато уж не начальство». У В. Кузнецова «покинутые всеми, Лежали села руки распластав». Запоминается, как у В. Бокова «Неуслышанные черепни Бьют зеленым помелом. Шевелят и тянут клешни, Норовят туда, где дом». Это из стихотворения «Олимп Леонидзе», одного из тех, в которых отразились связи разных национальных культур.

Наконец, несколько цитат из сборника, возвращающих к началу нашего обзора и в то же время направленных к следующему «Дню поэзии». Здесь и призыв к поэтам: «От себя не бегите. Не бойтесь костров Колымы» (Г. Поженян). И зовет мастера: «А труд — не автострада, а страда» (П. Антокольский). И гневный вопрос скептикам: «Кто посмел сказать, что поздно для отчаянного риска?» (Л. Васильева). И уверенность, что новый сборник будет не хуже предыдущего: «Но я полагаю, что в изменениях за год Все-таки к худшему не будет перемен» (Л. Мартынов).

Кандидат филологических наук
В. П. ГРИГОРЬЕВ

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

«Малая война» в «Войне и мире»,

Гомер и красавица Элен

Герои Толстого и Гомера? Как можно, например, связать имя светской львицы Элен из гениальной эпопеи «Война и мир» с образами гомеровского эпоса? Само имя ее свидетельствует о дани среды (к которой она принадлежит с рождения) западноевропейской моде на все, вплоть до личных имен. Откуда же здесь античные ассоциации?

Вот что, однако, любопытно. Знакомые называют героиню: красавица Элен, прекрасная Элен. Стоит лишь вдуматься, и станет ясно: ее называют... Еленой Прекрасной! Совпадение имен и эпитетов у толстовской героини и героини Гомера становится очевидным. Но этого мало. Толстой, говоря о внешности Элен, часто пользуется такими определениями (впервые на это обстоятельство обратил внимание исследователь М. Альтман), как «античная красота», «античные плечи», определениями, которые были бы наивными и шаблонными, если бы не предназначались для проведения параллели: Элен — Елена Прекрасная. В одном из эпизодов романа эта ассоциация дана совершенно откровенно и прямолинейно. Пьер, муж Элен, размышляет о том, как неловко чувствовать себя таким Парисом, обладателем Елены Прекрасной.

Зачем понадобились Толстому отмеченные аналогии, какую роль играют они в художественном единстве романа? Елена Прекрасная, как известно, была причиной Троянской войны, которой посвящена «Илиада». Элен — первоисточник целого ряда светских интриг, конфликтов, козней, мелких и пошлых, но подчас затягивающих в свои сети достойных людей, — тоже повод к «войне», «к войне малой», разыгрывающейся независимо и помимо той героической борьбы, которую ведет русский народ с французскими захватчиками.

И вот уже с огромной и патетической темой Отечественной войны, пробудившей и поднявшей на небывалую высоту национальное самосознание русского народа, соотносится по контрасту тема «малой войны» в «свете» — войны всех против всех. И этот контраст, эта антитеза особенно заостряется благодаря пародийно-ироническому освещению «малой войны» гомеровскими ассоциациями. На фоне героики античного эпоса особенно жалко и нелепо выглядит мышиная возня светских «воителей». А пародийное сближение Элен и Елены Прекрасной усиливается фонетической близостью имен ее мужа — Пьера — и гомеровского Париса, а также и то обстоятельство, что отца ее, князя, зовут Василием (Василий по-гречески «государь», а Елена Прекрасная была царской дочерью). И в самой судьбе Пьера есть некое отдаленное сходство с судьбой Париса, Пьер, правда, не был оставлен родителями, но, будучи незаконнорожденным, был лишен права считаться сыном своего отца и лишь ценой длительных мытарств был признан наследником графов Безуховых и официально утвержден в лоне своей семьи — подобно тому, как Парису, уже взрослому, был возвращен отчий кров.

Парис, как известно, похитил Елену Прекрасную. У Толстого этот мотив пародируется: Пьера женили на Элен, буквально навязали ему ее. Сам же Пьер отнюдь не писанный красавчик, а, напротив, толстый и неловкий барин (полнота и неуклюжесть его часто подчеркиваются в романе), которого и зовут-то, кстати сказать, не слишком эстетично — Безухий!

Все это, взятое в отдельности, — вроде бы частности, может быть, даже сверхчастности. Однако в совокупности своей они проявляют единую тенденцию, выстраиваются в один ряд, из которого исходит неповторимая толстовская ирония.

Кто вы, доктор Рутеншиц?

Фамилия одного из персонажей «Двойника» Достоевского — Рутеншиц. Фамилия эта говорит нам, казалось бы, только о том, что носитель ее — немец. Действительно, речь идет о враче-немце, к которому обращается в качестве пациента герой повести Голядкин.

Доктор Рутеншиц — фигура в повести эпизодическая, на первый взгляд, ничем не примечательная. Проходное лицо — и только. Но если внимательней присмотреться к фамилии немца-врача, воспринимая ее в словесно-образном контексте произведения в целом, то персонаж этот неожиданно обретает значительность. Рутеншиц — фамилия-анаграмма: Шпицрутен! Впрочем, может, анаграмма эта с ее зловещим содержанием не более, чем простая случайность? Ведь для того чтобы подобная фамилия приобрела символический смысл, необходимо, очевидно, чтобы ее семантика соответствовала характеру и поведению героя. Фамилия, образованная от слова «шпицрутен», говорит о том, что ее носитель — жестокий человек. Между тем доктор Рутеншиц — как будто бы самый обыкновенный человек. Более того, он даже довольно внимателен и терпелив к своему странному пациенту Голядкину. Но в финале повести обнаруживаются вдруг черствость, бездушие Рутеншица. Доктор сочувствует Голядкину — не только пациенту своему, но и знакомому — не в большей мере, нежели мыши, попавшей в мышеловку. А внимательность и любезность доктора — всего лишь профессиональная манера держать себя, за которой, как оказывается, стоят качества прямо противоположного свойства: бесчеловечность, равнодушие к ближнему. Доктора Рутеншица зовут Крестьяном Ивановичем. И тут мы вспоминаем другого немца-врача, героя гоголевского «Ревизора», носящего почти то же имя-отчество: Христиана Ивановича Гибнера (Крестьян вместо Христиан — иронически русифицированная форма имени). Вспоминаем не только в силу чисто внешнего совпадения. Ведь у гоголевского Гибнера «больные, как мухи, выдоравливаются» (!), а это делает зловещей и саму фамилию врача; мы ее уже воспринимаем как стоящую в одном ряду со словами: гибель, гибнуть. Параллель эта для героев Достоевского совершенно убийственна, и, поскольку она естественна, невозможно усомниться в конкретном смысле фамилии доктора Рутеншица.

Поэтика имен и пословиц

В художественной литературе собственное имя используется часто как своеобразная цитата из пословицы, а иногда и намекает на пословицу, в составе которой вовсе нет имен. Неслучайный характер имени Фомы Фомича из «Села Степанчиковая» Достоевского выявляется в пословице, обыгрываемой в повести: «На безрыбье рак — рыба, на безлюдье Фома — дворянин». В «Бедных людях» имя Девушкина — Макар — намекает на пословицу о «бедном Макаре, на которого все шишки валяются». Пословицы в тексте нет, но на нее «наводят» слова самого героя: «Из моего имени пословицу сделали». В других случаях намек на пословицу или поговорку более завуалирован. Яким Нагой в «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова — это, разумеется, «говорящее» прозвище. Но сочетание имени и прозвища вызывает в памяти изречение: «Яко наг, яко благ», что придает имени героя дополнительную ироническую окраску. Фамилия Червяков в «Смерти чиновника» Чехова тоже не только фамилия-вывеска (дескать, человек-червяк). Она ассоциировалась со стихами Беранже, популярными в период появления рассказа и сделавшимися «крылатыми словами»: «Ведь я червяк в сравнении с ним... с его сиятельством самим».

В таких случаях имя собственное получает «права» элемента, активно участвующего в построении образа, а пословица создает для него определенный эмоциональный фон.

Кандидат филологических наук
Э. Б. МАГАЗАНИК

«РУССКАЯ РЕЧЬ» ОТЧИТЫВАЕТСЯ

В НОВОСИБИРСКЕ

15 сентября 1967 года в Академгородке Сибирского отделения АН СССР в дискуссионном клубе «Под интегралом» состоялся первый устный выпуск журнала «Русская речь».

С программой журнала, с содержанием ближайших номеров познакомил собравшихся ответственный секретарь редакции В. Я. Дерягин. Руководитель группы Словаря русской советской поэзии Института русского языка В. П. Григорьев рассказал об особенностях современного поэтического языка. После этих выступлений началась оживленная дискуссия.

Речь зашла о языковой политике, то есть о возможностях сознательного влияния на язык и направлении этого влияния. Признание необходимости научного подхода к языковым и речевым фактам — таков основной итог дискуссии. Собравшиеся призвали редакцию журнала широко пропагандировать научно обоснованные культурно-речевые рекомендации. Важнейшая задача нового журнала — работать вместе со специалистами соответствующих областей знаний над усовершенствованием терминологических систем, профессиональных языков.

В обсуждении первых номеров журнала приняли участие член-корреспондент АН СССР В. А. Аврорин, преподаватели и студенты Новосибирского университета, научные сотрудники многих институтов Сибирского отделения, учителя.

В БАТУМИ

28 сентября 1967 года на кафедре русского языка Батумского пединститута имени Шота Руставели состоялось обсуждение вышедших номеров журнала «Русская речь». Сообщение сделал главный редактор член-корреспондент АН СССР В. И. Борковский.

Выступившие на заседании члены кафедры и студенты старших курсов дали высокую оценку большей части помещенных в журнале статей, отметили, что журнал весьма полезен для преподавателей русского языка как в средней, так и в высшей школе.

Были высказаны пожелания, чтобы журнал уделил больше внимания разговорной, ораторской и деловой речи, терминологии (доцент М. М. Орлов), русскому языку в национальных республиках (доцент М. Х. Партенадзе), языку художественных произведений (ст. преподаватель С. Л. Ткебучава).

(Окончание на стр. 79)

Колыбель или кузница?

Литература Востока любит образы, яркие, сложные, поражающие европейца изысканностью и замысловатостью.

Об этом я вспомнил, читая статью Т. Атаджанова «Саг бол, девчата» о дружбе туркмен и русских

(«Московский комсомолец», 28 декабря 1967). Речь идет о фабрике в Реутове, на которой в 20-е и 30-е годы работали, осваивали ткацкое дело туркменские девушки. Сказано об этом возвышенно, образно. И образ невольно привлекает внимание, останавливает читающего: «Фабрика бы-

ла хорошей колыбелью и кузницей кадров».

И колыбелью и кузницей сразу. Обычные газетные штампы употребляются по привычке, бездумно, и, сталкиваясь в одном контексте, противоречат друг другу, обесмысливают написанное.

В. О.

РЕЧЬ ИЛИ НЕ РЕЧЬ?

Кандидат филологических наук
М. Н. КОЖИНА

Проблема специфики художественной речи, представляющая интерес и для ученых-филологов, и для писателей, и для учителей-словесников, и для вдумчивого читателя, в последнее время весьма оживленно обсуждается в научной литературе. Ей посвящаются специальные исследования, например, книга В. Назаренко «Язык искусства» (Л., 1961); статьи П. В. Палиевского «Внутренняя структура образа» (сб. «Теория литературы». Т. I. М., 1962), В. В. Кожина «Художественная речь как форма искусства слова» (сб. «Теория литературы». Т. III. М., 1965) и др.

Вполне естественно, что эта проблема больше занимает литературоведов, которые стремятся рассматривать художественную речь в качестве «формы искусства слова» и хотят выяснить свойства, отличающие эту речь от иных проявлений языка и превращающие ее в факт искусства.

Однако попытки определить специфику художественной речи как формы искусства слова приводят некоторых исследователей к неверному выводу — к признанию какого-то чуть ли не совсем особого «языка искусства» со своим поэтическим словарем и своей поэтической грамматикой, т. е. по существу к отрыву художественной речи от других разновидностей речи. Так, например, В. В. Кожин утверждает, что «художественная речь уже не есть речь в собственном смысле» (указ. соч., стр. 243, 246). Это мнение находит все более широкое распространение среди литературоведов.

Подобного рода утверждения не могут оставить равнодушными лингвистов, долг которых — предостеречь филологов от этих крайностей.

Взгляд на художественную речь как на особый «язык искусства» и наблюдающийся при этом отрыв эстетической функции языка от коммуникативной по существу восходят к позициям русских «формалистов» и отчасти Пражского лингвистического кружка (ПЛК) — хотя этого или не хотя наши исследователи, называющие себя обычно продолжателями идей Г. О. Винокура и В. В. Виноградова. Между тем ни В. В. Виноградов, ни Г. О. Винокур, как известно, не отрывают эстетическую функцию от коммуникативной. Напротив, и тот и другой неоднократно подчеркивают их неразрывную связь. Об этом говорят и современные чешские ученые, критикуя ошибочные позиции ПЛК. Напомним, например, высказывание К. Горалка о том, что эстетически обработанное сообщение есть все же сообщение, осуществляющее коммуникативную функцию (см.: «Slovo a slovesnost», 1960, № 1, стр. 5), или слова Б. Трнки о том, что в любом высказывании, в том числе и поэтическом, всегда есть два элемента: коммуникативный и эстетический («Slovo a slovesnost», 1941, № 2, стр. 67). Об этом же говорится и в коллективном труде чешских стилистов — «Knižka o jazyce a stylu» (Praha, 1962, стр. 10), которые подчеркивают, что марксистская поэтика отвергает понятие языка художественной литературы как «языка сделанного (искусствсп-

ного) с поправлением его коммуникативной функции».

«Крайняя» позиция ряда наших литературоведов объясняется, по-видимому, недостаточно четким и последовательным различением понятий языка и речи, а именно подходом к явлениям речи, в частности художественной, с позиций языка. Поэтому в поисках специфики художественной речи называются некоторые свойства, присущие речи вообще, а не только художественной, — свойства, специфически речевые в отличие от системно-языковых.

Среди свойств, квалифицируемых как специфически художественно-речевые, называются, например: а) способность передачи художественным текстом гораздо большего содержания, чем сумма значений входящих в него слов; б) «подтекстность», способность передавать не высказанный прямо смысл; в) возможность инотолкования (или разнотолкования) текста (в частности, при повторном чтении); г) наличие особого поэтического словаря и даже грамматики (пусть не в точном терминологическом значении этих слов) и др.

Однако стоит обратиться к другим разновидностям речи — разговорно-бытовой, научной, дипломатической и др., — как мы увидим, что все эти свойства и явления, на первый взгляд как будто присущие лишь художественной речи, известны и другим видам речи, что они во многом идут от особенностей психологии восприятия речи, от особенностей языковой коммуникации как таковой. Напомним слова Э. Сепира, сказанные отнюдь не в отношении художественной речи: «Обычный человек никогда не убеждается одним содержанием речи, но очень чувствителен к многочисленным оттенкам речевого процесса, как ни трудно они поддаются (если вообще поддаются) сознательному анализу» (разрядка наша. — *М. К.* Цитирую по книге: В. А. Звегинцев. История языкознания XIX—XX веков в очерках... Ч. II. М., 1965, стр. 248).

Подтекст, например, весьма свойствен речи разговорно-бытовой и дипломатической; непонимание (инотолкование) встречается и в живом

повседневном общении; толкованиям тех или иных мест научных сочинений посвящаются нередко целые исследования (порой многочисленные), наконец, своеобразный словарь и грамматика наблюдаются чуть ли не в каждом виде речи (ср. жаргон и просторечие в бытовом общении, разные виды терминологии в науке, в законодательстве, а отчасти и специфические грамматические явления в них и т. д.). Значит, для выявления специфики художественной речи мало назвать указанные свойства, необходимо определить действительные качественные отличия их в пределах эстетической сферы языкового общения, выявить их функцию и аналитическую специфику. Иначе эти свойства мало что раскрывают в специфике исследуемого объекта, как и указание на образность, экспрессивность и т. п. Строгий анализ и эффективность выводов обеспечиваются подходом к речи не с узко языковых позиций, а непременно выявлением специфически речевого, отличного от системно-языкового, т. е. с позиций функции и аналитики. Это одно из главных условий исследования художественной речи. Принцип различения языка — речи и функциональный подход провозглашаются, но фактически в самом анализе и выводах эти принципы, как правило, не проводятся.

Становясь фактом искусства, художественная речь ни в коей мере не перестает быть одним из видов общелитературной речи: ведь она по-прежнему является средством общения, выражения мысли (в данном случае поэтической), средством мислеоформления. Но вместе с тем, это, действительно, качественно особый вид речи, особый именно с функциональной точки зрения. Задачи коммуникации в области эстетического общения, в сфере искусства слова и определяют специфический характер речи, особенности функционирования языковых средств. И это свойство речи в художественной литературе может осуществляться именно потому, что и художественная речь сохраняет свои общеречевые (п общезыковые) признаки. Очевидно, если бы она утратила коммуникативную и мыслеоформляющую функции,

она перестала бы выполнять и функцию эстетическую; это не требует особого доказательства.

Поэтическая функция представляет собой по существу специфику функционирования языка в области эстетического общения. Она является своеобразным приспособлением языка для выражения не обычной, а образно-художественной, поэтической мысли, для выполнения своеобразных эстетических задач общения в этой области. Это, если можно так выразиться, наилучшее, наиболее целесообразно осуществляемое в связи с задачами искусства языковое общение, наилучшим образом осуществляемая коммуникация, целесообразно преобразованная коммуникативная функция. Ср. слова А. Мартине о том, что языки «приспосабливаются к тому, чтобы наиболее экономичным образом удовлетворять потребности общения...» (см.: сб. «Новое в лингвистике». Вып. III. М., 1963, стр. 372).

Поэтическая функция речи, с точки зрения функционально-стилистической, заключается в том, что вся ее структура, закономерности отбора и сочетания языковых средств и их функционирование направлены на выражение образно-поэтической мысли. Именно в силу специфики задач общения в области искусства особым становится и функционирование языковых средств. Причем сами языковые средства не изменяют своей природы и преобразуются лишь функционально. Однако такое приспособление языка к задачам общения наблюдается во всех разновидностях речи. Задача исследователя — определить эти закономерности в каждом стиле, их специфику.

То, что язык в художественной области общения как бы «„прокинут“ в тему и идею художественного замысла», по словам Г. О. Винокура, что он является здесь лишь формой выражения иного, поэтического содержания, идейно-образного подтекста,— это и есть проявление специфических закономерностей функционирования языковых средств в эстетической сфере общения, в свою очередь обусловленных ее особыми за-

дачами. Но от этого язык несколько не перестает быть языком, а речь речью. Писатель, как и всякий говорящий (пишущий), строит свою речь по законам языка даже при образовании неологизмов (лексических, семантических, грамматических). Языковые средства художественно-речевой ткани сохраняют свои общепородные лексико-грамматические значения. Уместно вспомнить в связи с этим меткие слова Э. Косериу о том, что будучи «строгим индивидуальным... язык перестает быть языком: не может существовать язык, на котором не говорили бы с другими» (см.: сб. «Новое в лингвистике». Вып. III, стр. 181).

У художественной литературы нет ни какого-то особого словаря, ни какой-то особой грамматики; нарушение против нормы здесь ничуть не больше, чем, например, в живой разговорно-бытовой речи, публицистической или научной.

В сфере художественной речи не столько изменяются присущие языковым средствам значения, сколько возникают иные поэтические значения, отличающиеся от общеязыковых главным образом употреблением. Они обогащаются новым, поэтическим содержанием, что проявляется только в пределах данного произведения (иногда стили писателя в целом). Эти поэтические значения не закрепляются за данными языковыми средствами, т. е. не становятся языковыми. Следовательно, сама почва существования особого поэтического языка отсутствует. (Мы не говорим, конечно, об отдельных периодах и наблюдая некоторых периодов в истории литературы.)

Нет никаких оснований считать поэтическую речь не речью и говорить о каком-то особом языке поэзии хотя бы потому, что способность выражать дополнительный к сумме значений общеязыковых единиц смысл, в том числе образно-эмоциональный и даже эстетический, есть проявление потенциальных возможностей языка и одна из существенных и характерных черт речи как таковой. Нет и никакой особой «поэтической грамматики» и «поэтического словаря». О них можно говорить лишь в весьма фигуральном смысле, как это делает Г. О. Винокур. Но даже и в

таким смысле не может быть «грамматики» и «словаря» поэтической речи вообще (если говорить о развитии литературы, прежде всего реалистической, на национальной языковой основе). Они могут быть свои лишь у отдельного художественного произведения, в крайнем случае — у писателя, но не шире. Иначе художественная речь утратила бы такие необходимые для нее свойства, как индивидуальность, неповторимость выражения. Таким образом, понятия «поэтического словаря» и «грамматики» утрачивают весь свой собственно «эстетический» смысл.

Для углубленного исследования специфики художественной речи важно и то, что сближает этот вид речи с другими и то, что отличает его от них.

Здесь необходимо учесть особенности восприятия речи и специальную направленность произведений искусства слова на воздействие. В этом отношении весьма ценны данные психологии и, в частности, заключения Л. С. Выготского.

Л. С. Выготский отмечает, что вскрыть психологический механизм, через который искусство действует на воспринимающего субъекта, можно путем рассматривания произведения искусства как объекта, организованного для особого воздействия, построенного в соответствии с этой задачей. Однако в этом своем свойстве произведение искусства слова не может отрываться от свойств естественной речи, напротив, оно «опирается» на известные общие качества психологии восприятия речи, лишь специально усиливая определенные ее свойства, приспособлявая к своим целям законы восприятия речи, осуществляя, так сказать, специальную установку на ее восприятие. Так, Л. С. Выготский пишет: «...субъективность понимания, привносимый нами от себя смысл ни в коей мере не является специфической особенностью поэзии — он есть признак всякого вообще понимания» (Психология искусства. М., 1965, стр. 58; разрядка наша. — М. К.)

Из такого «культивирования» этого всеобщего свойства восприятия

речи проистекает и специфическая структура литературного произведения, в частности его речевая структура. А она в свою очередь организуется с расчетом на специальное художественное восприятие. И художественная речь, и ее восприятие не могут оторваться от речи и восприятия вообще, иначе произведение искусства не будет доступно «всемирному» пониманию. В этом случае между писателем и читателем существовала бы пропасть.

Для художественного воздействия особый язык и какая-то уже и не «речь» не только не нужны, но и просто противопоказаны искусству слова. Не случайно многие поэты и писатели на вопрос о секрете их мастерства отвечали, например, так, как И. А. Бунин: «Какой такой особый язык у меня; пишу русским языком, язык, конечно, замечательный, но я-то тут при чем?». Приводя это высказывание, А. Твардовский замечает: «...по существу это очень верно, что у писателя не может быть иного языка, чем его родной язык, язык его народа» («Новый мир», 1965, № 7, стр. 231).

Если речи вообще свойствен подтекст, то речи художественной он свойствен в особенно большой степени. К тому же подтекст в ней специально создается, что сказывается на ее структуре.

Возможности подтекста, явления интолкувания коренятся в неожиданности языка и мышления, в «незафиксированности» системой языка всех возможных человеческих эмоций и их оттенков, в использовании для взаимопонимания не только языка (собственно содержания речи), но и широкого ситуативно-психологического контекста, учитывающего ситуацию речи, жест, мимику, индивидуальные признаки говорящего и т. д. Интересные конкретные наблюдения дает в этом отношении статья В. В. Одинова «Жесты и мимика в диалогах Пушкина», опубликованная в «Русской речи» (1967, № 1). Всякая речь понимается в определенной ситуации общения, а не только из содержания речи; эта всеобщая для восприятия речи черта по-своему используется в художественном произведении и проявляется в художественной речи. Она особенно ощутима в драматургии, а также

в диалогических частях художественной прозы. Здесь подтекст понимается не только из содержания каждой реплики, но и во всей контекстно-речевой ситуации, свойственной данному произведению.

Однако понятие, смысл и способы «реализации» широкого контекста в речи художественной и нехудожественной — различны. В последней сама речь лишь отчасти создает представление о возможном подтексте (все остальное — дело внеречевой ситуации). В художественном же произведении только речевая ткань произведения может быть средством выражения подтекста. Отсюда как раз и возникает необходимость «изображения словом» — специфическое отличие художественной речи от всякой иной, ибо она должна быть направлена на это изображение, на воссоздание действительности словом. Отсюда же идет и особое построение художественной речи, рассчитанное на возбуждение творческой фантазии читателя. Известные труды А. М. Пешковского, Л. В. Щербы, Г. О. Винокура, В. В. Виноградова, М. М. Бахтина, из новейших работ — статья С. А. Копорского в журнале «Русский язык в школе» (1966, № 2) дают нам интересные наблюдения над особенностями функционирования языковых средств в художественной речи.

Если речи вообще свойственна избыточность, то художественной речи она свойственна тем более. Только в обычной речи избыточность, как правило, неосознанна, а в речи художественной — «воссозданна» и целенаправленна, т. е. избыточность как возможность речи превращается в средство достижения и выражения образности, используется в эстетических целях. Это может осуществляться лишь в том случае, когда речь особым образом, искусно построена, когда писатель не только реализует выразительные языковые ресурсы и обогащает их, но и когда он учитывает особенности восприятия речи. Таким образом, избыточность речи используется в художественной литературе в эстетических целях; формально то же явление функционально становится иным.

Согласно теории информации в речи действует такой закон: чем выше частотность употребления какой-либо языковой единицы, тем меньше ее информативность (см., например, А. Мартине — в сб. «Новое в лингвистике», стр. 542). Это явление известно всякому грамотному человеку, и говорящий, а тем более пишущий, стремится не повторять без надобности одних и тех же слов, становящихся штампами. На этом основано одно из правил практической стилистики, которое очень часто нарушается в разговорной речи (где это неизбежно в силу условий общения, т. е. отсутствия предварительной подготовки). Но если говорить не об элементарном правиле (повторы в пределах небольшого контекста), а вообще о широком использовании общепотребительных и потому «стершихся» слов, то это распространенное явление в разных сферах речевого общения.

Художник слова, стремясь к наибольшей выразительности речи, к необходимости привлечь не только внимание читателя, но и возбудить его фантазию, вызвать эмоциональное переживание содержания произведения, избирает, как известно, «востертые», «свежие» средства языка. Это выражается, естественно, не только в создании лексических неологизмов, но и в «освежении» элементов различных средств всех уровней языка, прежде всего семантического и, в конечном счете, всей речи, что требует высокого искусства использования слова. Однако высшее искусство (о чем говорит и А. Мартине) состоит как раз в том, чтобы самыми обычными средствами повысить эффект образно-художественной информативности повествования, а следовательно, его коммуникативную эффективность.

Итак, поэтическая функция — это использование языка в эстетической сфере общения в целях выражения поэтического, художественно-образного содержания. Результатом является функциональное преобразование речи, которая в целом (или элементы которой в системе целого) получает дополнительное поэтическое значение, оставаясь в то же время общезначимой и лишь функционально специфической.

Е. В. НЕВЗГЛЯДОВА,
преподаватель ЛГУ



В поисках верности стихотворного перевода

Там подлинник — здесь бледность копий.
Там все в крови, здесь крови нет

Б. ПАСТЕРНАК

В искусстве художественного перевода, так же как и в его критике, многое зависит от читательского восприятия произведения. И переводчик и критик — прежде всего читатели. А восприятие читателя всегда индивидуально. Это прекрасно показал Е. Г. Эткинд в книге «Об искусстве быть читателем» (Л., 1964) на примере восприятия стихотворения Тютчева «Весенняя гроза» разными людьми. Каждый находит в этом замечательном стихотворении что-то свое: один видит образ молодости в первой весенней грозе, другой — отношения человека и природы, третий — и то, и другое, и что-то свое, близкое и понятное только ему. Е. Г. Эткинд объясняет это многогранностью, смысловой емкостью, которыми обладает всякое произведение искусства.

Как прочитан оригинал, как он понят — для перевода это основное. Если достигнута верность оригиналу, если перевод удался поэту — в нем можно найти то, что есть в оригинале (хотя и не только то). Если же переводчик будет отталкиваться только от своего индивидуального восприятия (от которого он не освобождается!), не исключена возможность впасть в субъективизм и исказить смысл оригинала, обеднив, сузив его.

«Поэтическому переводу должен предшествовать углубленный анализ произведения, имеющий целью выяснить, что в данном оригинале обладает первостепенной важностью, что составляет его сущность, а какие элементы второстепенны и потому могут быть преобразованы, заменены или опущены» (Е. Г. Эткинд. О поэтической верности.— Сб. «Мастерство перевода». М., 1963, стр. 150).

Но в процессе анализа возможен отход в сторону от текста оригинала вместо проникновения в его глубину. Анализируя перевод «Лорелей» Гейне,

сделанный А. Блоком, В. Левик в статье «О точности и верности» обратил внимание на две строчки, которые казались ему не верными по отношению к оригиналу:

В вечерних лучах алеют
Вершины дальних гор.

«Мне казалось, что речь не может идти о нескольких да еще дальних горах. Речь может идти только об одной и, конечно, близкой горе — той, на которой сидит Лорелея, и которая одна только, как лучезарное видение, высится над погруженным в сумрак миром» (сб. «Мастерство перевода». М., 1959, стр. 264).

Наблюдение, без сомнения, верно. Это отмечал В. М. Россельс в своей статье «Заботы переводчика классики» (сб. «Тетради переводчика». М., 1967), говоря о том, как приходят на помощь переводчику умение видеть, наблюдательность и жизненный опыт.

Однако, несмотря на то, что в приведенных двух строчках нет той скалы, на которой поет свою песнь Лорелея, нельзя сказать, что ее нет в переводе Блока. Действительно, в переводе скала Лорелеи не названа, но это не значит еще, что она отсутствует в нем. Ведь в поэзии, как во всяком искусстве, важно представить, изобразить предмет, а не назвать его. Называние и изображение — вещи разные, часто друг от друга не зависящие, во всяком случае не прямо зависящие. У Блока в следующих строках сказано:

Над страшной высотой
Девушка дивной красоты
Одеждой горит золотом,
Играет златом косы.

Если читатель увидит эту девушку, которая находится «над страшной высотой» (как ему известно из предыдущих строк — в горах), он непременно увидит ее где-то — на вершине, на скале, а не в пустоте, не просто в воздухе. Из приведенных строк должно быть также ясно, что вершина (или скала) только одна; их не может быть несколько, так как девушка не может находиться сразу на нескольких вершинах. И ясно, что эта скала (или вершина) совсем близко, если видно, что девушка на ней «играет златом косы».

С этой точки зрения можно утверждать, что столь важная деталь «со-держания», которую отметил В. Левик, в качестве речевого явления не существенна и как раз относится к тому, что может быть «преобразовано, заменено или опущено».

Что же существенно, а что второстепенно в поэтическом тексте?

Прежде чем попытаться ответить на этот вопрос, обратимся к упомянутому стихотворению Тютчева «Весенняя гроза» и попытаемся разобраться в том, что в этом стихотворении дает основание различным интерпретациям. Напомним текст стихотворения:

I Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

II Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

III С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам.
И гам лесной и шум нагорный —
Все вторит весело громам.

IV Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

Стихотворение само — «громокипящий кубок», в четырех гранях-строфах которого отражается первая весенняя гроза, какой ее видел поэт. I строфа — грань, в которой гроза лишь упоминается. Но первый энергичный, в полный голос удар уже брошен. Он звучит в ударных слогах, которые перемежаются с неправильными чередованиями: первая строка — 4 ударения (2, 4, 6 и 8-й слоги), вторая строка — 3 ударения (4, 6 и 8-й слоги), третья — 2 ударения (4 и 8-й слоги) и четвертая — 3 ударения (2, 4 и 8-й слоги). Эти ударные слоги с силой разбивают метрическую оболочку, «как бы резвяся и играя» вырываются из нее. С самого начала эти строки нельзя произносить медленно и тихим голосом. Они требуют произнесения «во весь голос», энергичного, громкого, гулкового, так, чтобы слышно было, как раскаты женской рифмы «мая — играя» сменяются кратким ударом мужской — «гром — голубом». В обороте «люблю... когда» грозы еще нет, но она присутствует в ритме, интонации, рифмах.

II строфа — вторая грань, отражающая зрительное восприятие грозы. Как будто затем, чтобы рассмотреть грозу, приостановлено движение. Медлительность и статичность — в глаголах настоящего времени: гремят, летит, золотит — и в течении ритма последней строки, где основное ударение падает на 2-й слог, после которого тянутся повторяющиеся «и» — одно безударное и два несущих полуударения:

И сблице нити золотит.

III строфа — третья грань, в которой уже звучит гроза. «Гам» и еще раз «гам», глухие и шумные «п», «с», «т» и звонкие «р» и «г» — «все вторит весело громам».

И, наконец, IV, последняя грань, в которой объединяются все предыдущие в один поэтический образ и приглашается читатель, привлекается его воображение, поэтическое восприятие, чтобы ощутить все это: молодость и силу — в раскатах, и смех — в паузе после ударного «смеясь», и красоту этого удивительного явления природы — грозы в начале мая.

Может показаться, что это еще одно восприятие «Грозы». Но в тютчевском стихотворении на самом деле изображена гроза. В то время как словарными значениями рассказывается о громе, солнце и дожде, собственно стиховыми средствами — звуком, ритмом, интонацией — показывается, изображается, наподобие того, как в детской игре «Где мы были, мы не скажем, а что делали покажем» без слов, жестами изображается действие.

Именно то, что в стихотворении присутствует сама гроза (а не просто

о ней идет речь), дает возможность по-разному видеть и воспринимать смысл стихотворения. В этом можно убедиться, пересказав стихотворение в прозе. Сохранив логический смысл теми же словарными значениями, которые употреблены Гютчевым, мы все же потеряем то основное, художественное, что заставляет читателя вчитываться в это произведение собственные чувства и мысли (или вычитывать их, что одно и то же). Попробуем предложить читателю текст: «Я люблю грозу, которая бывает в начале мая, когда первый весенний гром, играя и резвяся, грохочет в голубом небе...». Вряд ли захочет читатель увидеть в этом веселье и молодость, рождение нового, творческий дух, вдохновение и т. д.— все то, что видят читатели «Весенней грозы».

Искусственно препарировав поэтический текст в целях анализа, который должен предшествовать воссозданию смысла в системе другого языка, можно выделить в нем элемент логический, отделив его от собственно поэтического элемента. Логический элемент, составляемый значениями слов и передаваемый синонимическими средствами, представляет ту часть в оригинале, которая может быть «преобразована, заменена или опущена», а собственно поэтический элемент следует считать его сущностью, тем, что «обладает первостепенной важностью». Логический смысл поддается пересказу, что, по словам О. Э. Мандельштама, «вернейший признак отсутствия поэзии» (О. Э. Мандельштам. Разговор о Данте. М., 1967). Яркой иллюстрацией этой мысли может послужить «лингвистический анекдот», который А. А. Потебня позаимствовал у Даля: «...заезжий грек сидел у моря, что-то напевал про себя и потом слезно заплакал. Случившийся при этом русский попросил перевести песню. Грек перевел: „сидела птица, не знаю, как ее звать по-русски, сидела она на горе, долго сидела, махнула крылом, полетела далеко, далеко, через лес, далеко полетела“. И все тут. По-русски не выходит ничего, а по-гречески очень жалко!» (А. А. Потебня. Мысль и язык. Харьков, 1913).

Логический смысл не обладает эстетической функцией. Это не значит, что логический смысл в переводе может быть произвольным, хотя бы потому, что только на нем зиждется поэтический элемент. Но речевое выражение логического смысла может быть подвергнуто изменениям. Важно передать ситуацию. Благодаря тому, что разные слова содержат разные части одной и той же ситуации, вместо «скала» можно сказать «над страшной высотой»; вместо «полено» — «пила» и, скажем, «дрова» и т. д. и т. п.

Мы видели, что собственно поэтический элемент служит изображению, представлению логического смысла. Но это не всегда так. В строках Пушкина:

И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла

можно увидеть, как ритмико-интонационными средствами представлена картина белой ночи. В мерном с равноударными словами течении фразы, утяжеленной переносом, можно увидеть сонное спокойствие и протяженность улиц, а в неожиданном интонационном взлете на слове «светла» — отражение острия адмиралтейского шпиля.

Но что изображается, например, в строках:

Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог...

Неужели болезнь дяди? Или, может быть, здесь нет поэтического элемента? Ведь существует поэзия мысли (в отличие от поэзии чувства) и прозаическая струя в поэзии, которые, возможно, лишены поэтического элемента?

Нет, этого быть не может. Всякое поэтическое произведение должно обладать так называемым собственно поэтическим элементом в дополнение к логическому, с которым он органически связан в ткани художественного произведения. Что же такое этот собственно поэтический элемент?

Прежде всего — это элемент смысловой. Ценность всего, что создается словом или, лучше сказать, посредством слова, принадлежит смыслу. Под смыслом стихотворного произведения понимается вся отображенная в речи внеязыковая действительность. Именно смысл вызывает в нас эстетические переживания.

Ю. М. Лотман в «Лекциях по структуральной поэтике» (Тарту, 1964) убедительно доказал, что в художественном тексте «эмоции передаются через значения», иллюстрируя это положение тем, что междометия, наиболее эмоциональные элементы обывденной речи, в художественном произведении воспринимаются как эмоционально бедные (именно потому, что их смысловая нагрузка мала сравнительно с другими словами).

Что же создает собственно поэтический смысл, обладающий эстетической функцией? Как уже говорилось, смысл, составленной только значениями слов текста, эстетической функцией не обладает. Но ни размер, ни ритм, ни звук, как бы важны они ни были, сами по себе не несут смысла. Один и тот же размер может быть использован для передачи противоположных смыслов. Сравним, например, два пушкинских стихотворения.

Одно:

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне...
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

«Предчувствие»

И другое:

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
«Тятя! Тятя! наши сети
Притащили мертвеца».

«Утопленник»

Оба стихотворения написаны четырехстопным хореем. Правда, в первой строфе «Предчувствия» во второй и третьей строках количество ударений меньше, чем в соответствующих строках «Утопленника», но в четвертой строке соотношение обратное (в «Предчувствии» — 3, а в «Утопленнике» — всего 2). При том, что в первых строках соотношение одинаковое (а если

взять вторую строфу «Предчувствия», то нет разницы и во вторых строках), нельзя утверждать, что тут все дело в количестве ударений. И все-таки можно рассуждать о том, что ритм изображает то, о чем «говорят» слова, и создает настроения (в одном случае — одно, а в другом — совершенно другое!).

То же самое происходит со звуком. Часто мы говорим о звукописи, которая способствует восприятию смысла, но нередко — о бессмысленном нагромождении звуков, об искусственности, формализме (ср., например, звукопись Пушкина и Бальмонта). Значит, именно благодаря синтезу стиховых элементов — словарных значений слов, находящихся в сюжетно-логической связи, ритма и звука — возникают «те художественно-изобразительные „приращения” смысла, которые развиваются в системе целого эстетического объекта» (В. В. Виноградов. *Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика*. М., 1963). Эти «приращения смысла» (выражение не случайно!) представляют собой приращения собственно поэтического смысла к логическому каркасу. Возникают они именно в словах, в их значениях, поскольку только слова являются смысловыми элементами в том синтезе, о котором шла речь. Это означает, что между словом — знаком и его обозначаемым — внеязыковой действительностью возникают иные отношения, чем те, которые сложились в естественном практическом языке. «Поэтическое» слово отличается от «прозаического». Его специфика может быть обнаружена с помощью лингвистической семантики, науки, занимающейся вопросом о том, как в единицах речи, словах, отображается внеязыковая действительность. Этот вопрос относительно «поэтического» слова несомненно представляет теоретический интерес. Лингвистическое исследование смысловых приращений может представлять и практический интерес для поэта-переводчика.

Не претендуя на исчерпывающий разбор смысла стихотворного произведения (который невозможен!), лингвистический анализ, привлеченный на помощь литературоведческому, оставляет меньше возможностей для произвольного толкования и просто непонимания, которые приводят к неудачам в практике стихотворного перевода.

П Р А К Т И К У М П О С Т И Л И С Т И К Е

Прочитайте внимательно заметку, которую мы перепечатаем из «Московской правды» (20 февраля 1968) и напишите нам, все ли вы считаете здесь правильным с точки зрения языка и стиля.

Московским садоводам

В помощь начинающим садоводам Московский областной совет Всероссийского общества охраны природы организовал серию лекций по вопросам закладки новых садов, подбора ценных сортов деревьев и кустарников, ухода за садом.

В тайны садоводства посвятят москвичей специалисты академии имени Тимирязева и Научно-исследовательского института садоводства. Здесь же они смогут получить консультацию.

В феврале — марте лекции будут проходить еженедельно по понедельникам. Начало в 20 часов.

Искусство судебной речи

Судебная речь имеет свои особенности, которые определяются общими целями и конкретными задачами правосудия, исторически сложившимися формами его осуществления.

Природа судебной речи полностью раскрывается в сочетании трех элементов: практической направленности, строгой научности анализа и оценки доказательств, яркой, впечатляющей формы, образно конкретизирующей логические доводы судебного оратора. Судебная речь в советском уголовном процессе имеет свою специфику.

В целях более расчлененного рассмотрения вопроса я буду говорить в дальнейшем о защитительной речи советского адвоката.

Метод уголовной защиты, получающий распространение в определенных исторических условиях развития общества, обусловлен особенностями господствующего мировоззрения, тем или иным пониманием причин преступности, философскими взглядами на возможные пределы познания истины в судебном исследовании, системой материального и процессуального права, организационной структурой судебных учреждений.

Несомненно, что суд присяжных особым образом влияет на метод защиты: разделение компетенции в решении вопросов преступления и наказания между присяжными заседателями и коренными судьями, возможность вынесения оправдательного вердикта при доказанности факта преступления, безапелляционность и немотивированность вердикта присяжных. С этими особенностями суда присяжных связаны и некоторые особенности защитительных речей: определенная деюридизация, насыщенный психологизм, установка на эмоции, впечатление.

Древние ораторы и более поздние судебные деятели главную свою задачу видели в том, чтобы «расположить к себе слушателей и настроить их так, чтобы они больше подчинялись волнениям и порывам чувства, чем требованиям рассудка» (Цицерон. *De oratore*. II.— П. Сергеев. *Искусство речи на суде*. М., 1960, стр. 266).

Квинтиллиан утверждал вслед за Цицероном, что главное — уметь растрогать судей, подчинить их тем чувствам, которые хочет вызвать оратор: «Логикой можно доказать судьбе, что правда на моей стороне, загронув в нем чувство, можно добиться того, чтобы он сам желал найти ее у меня» (см.: П. Сергеев, стр. 272 или в устаревшем переводе Марк Фабий Квинтиллиан «Двенадцать книг риторических наставлений». Ч. I. СПб., 1834, стр. 430—440).

С таким пониманием сущности и назначения защитительной речи у старых судебных ораторов связано допущение художественного домысла, искажающего жизненную правду. Установление защитником истины Квинтиллиан пренебрежительно расценивал, как низшую способность, доступную всем адвокатам. Место настоящего оратора, указывал он, там, где «надо отвести им [судьям.— В. Г.] глаза, затуманить, ослепить их, чтобы они не видали правды, забыли то, что само по себе приковывает их внимание» (там же). Старые судебные ораторы иногда не останавливались в защите обвиняемого даже перед оправданием самого преступления. А. Ф. Кони по этому поводу писал: «...нельзя без справедливой тревоги видеть, как в отдельных случаях защита преступника обращается в оправдание преступления...» (А. Ф. Кони. Собрание сочинений. Т. 4. М., 1967, стр. 65).

Примером такой защиты может служить речь Н. П. Карабчевского по делу Н. Кашина, обвинявшегося в убийстве жены. (Следует отметить, что эта защита не характерна для адвокатского облика Н. П. Карабчевского в целом.) Нарисовав яркими красками картину семейного разлада на почве недостойного поведения жены подсудимого, защитник говорил:

«Когда созревает нравственная необходимость кровавой расправы, все готово послужить этой цели!

Тут было иступление самой основы души — человеческой души, нравственно беспощадно приниженной, растоптанной, истерзанной! Она должна была или погибнуть навсегда или воспрянуть, хотя бы ценою преступления! Она отсекала в лице убитой от самой себя все, что ее мрачило, топтало в грязь, ежеминутно и ежесекундно влекло к нравственной гибели. И совершил этот подвиг ничтожный, слабовольный, бесхарактерный Кашиин... Преступление Кашина выше, глубже, значительнее его самого» (Н. П. Карабчевский. Речь, 1882—1902. СПб., 1902, стр. 567, 569. Разрядка моя — В. Г.).

Можно ли представить себе большую апологию преступления! Любопытен комментарий к этой речи, данный П. Сергеевым в его книге. Защита, пишет он, неизмеримо выигрывает, если удастся найти идею, не только объясняющую факт, но и оправдывающую преступление. Блистательное этому доказательство — речь Карабчевского по делу Кашина:

«Художественная сила этой речи не требует пояснения... Защита проведена в высоте, настолько приподнятой над обвинением, что прокурору не дотянуться до защитника, а присяжные, увлеченные в „прост-

ранство холодное“, где захватывает дух и сжимается сердце, не захотят отрезвиться, не захотят действительности. Логически возразить на эту защиту очень легко: убийство не подвиг, а преступление. Как поэт, как художник оратор волен говорить, что жена тянула мужа в бездну. Но ведь тянула не рукой, не веревкой, не цепью, ведь и бездны никакой не было; это — устарелые общие места; Кашину стоило уйти или прогнать жену, и он освободился бы от ее растлевающего влияния, очистился бы истинным подвигом души, а не чужою кровью. Обвинитель мог сказать все это, но присяжные не стали бы слушать его, и во всяком случае не пошли бы за ним» (П. Сергеев. Указ. соч., стр. 162).

Этот комментарий П. Сергеева, автора лучшего дореволюционного пособия по искусству речи на суде, несомненно, свидетельствует о том, что отчетливо прозвучавшая в выступлении Карабчевского нота оправдания преступления, не была случайным эксцессом, а отражала определенную тенденцию, вытекавшую из концепции художественных задач уголовной защиты.

Важнейшие особенности защитительной речи в советском суде определяются принципиально иными началами: необходимостью для суда установить объективную истину, решением всех вопросов права и факта, преступления и наказания единым составом суда; невозможностью оправдать подсудимого, если факт совершения преступления доказан; обязанностью суда обосновать приговор собранными по делу доказательствами.

Советским адвокатам чуждо стремление добиваться приговора, находящегося в противоречии с жизненной правдой, вызвать у суда благоприятное для подсудимого мимолетное впечатление. В защитительной речи советского адвоката доказательственная сторона приобретает неизмеримо большее значение, а эмоциональное воздействие на судей, сохраняя свое значение, должно быть подчинено строгой логике.

Впрочем, и в этом вопросе, так же как и во всех других, нет каких-либо незыблемых канонов, которые давали бы ключ к мастерству. Многое зависит от индивидуальных особенностей оратора и от характера дела.

Обращение к чувствам в тех случаях, когда это оправдано обстоятельствами дела, не должно иметь ничего общего с крикливой патетикой или слезливой сентиментальностью. Прав был один из русских дореволюционных судебных ораторов, говоря, что ложный пафос в речи защитника производит еще более тягостное впечатление, чем ложный пафос в игре актера, потому что в судебном процессе решается вопрос о достоинстве, чести, свободе, а иногда и жизни человека, и всякое проявление неискренних чувств, наигранной страсти особенно нетерпимо. Чем сдержаннее оратор, чем ярче внутренняя эмоциональная насыщенность его речи, тем сильнее доходит до слушателей подлинный пафос излагаемых им фактов.

Лучшие судебные речи советских адвокатов сочетают защиту лица, совершившего преступление, с осуждением самого преступления. Школьник Абрамов был предан суду по обвинению в убийстве отца. Факт совершения преступления был неоспорим. Защитник И. Д. Брауде на основе материалов дела и показаний свидетелей нарисовал трагическую атмосферу в семье Абрамовых, приведшую трудолюбивого, талантливого юношу к убийству отца «в состоянии сильного душевного волнения, вызванного длительной травмирующей обстановкой на фоне все более и более развивающихся тяжелых переживаний». Анализ обстоятельств, способствовавших совершению преступления, последовательно приводил к выводу о справедливости и целесообразности избрания условной меры наказания. Но наряду с обоснованием этого тезиса защиты через всю речь проходит осуждение преступления: «Трудно не согласиться и с тем, что такое преступление, как убийство отца, глубоко противно нашему советскому мировоззрению, глубоко противно и самой человеческой природе» («Защитительные речи советских адвокатов». М., 1956, стр. 25).

Защита лица, совершившего преступление, сочетается с безусловным осуждением самого преступления. Это обеспечивает высокий идейно-политический и профессиональный уровень защитительной речи.

Защитительная речь должна представлять собой законченное целое. Материал необходимо излагать с соблюдением строгой логической последовательности, чтобы одни факты и доводы логически вытекали из других. Ясности изложения, несомненно, способствует четкое разграничение разделов речи, краткая формулировка основной темы выступления и отдельных его частей. Выдающийся русский адвокат В. Д. Спасевич во вступительной части речи по делу об убийстве Нины Андреевской сказал:

«Ставлю как тезис, который я должен доказать и который я надеюсь доказать, тезис в полной истине которого я глубоко убежден и который для меня яснее белого дня, а именно, что Н. Андреевская, купаясь, утонула, и что, следовательно, в ее смерти никто не виноват» («Судебные речи известных русских юристов». М., 1957, стр. 593).

Защитительная речь должна быть краткой. Краткость речи определяется не количеством затраченного на ее произнесение времени, а умением уложить большое содержание в предельно лаконичную форму: «Оратором может быть назван лишь тот, кто достигнет полного сочетания плавности речи с целесообразностью каждого произносимого слова» (С. А. Андреевский. Драммы жизни. Защитительные речи. Пг., 1916, стр. 26).

Своеобразие публичной речи, исключающее возможность внесения в нее исправлений, метко выраженное в народной поговорке: «Слово не воробей, вылетит не поймаешь», обязывает оратора к совершенному владению родным языком.

Далеко не все слова, входящие в пассивный запас человека, употребляются им в собственной речи. «Под знанием языка, — писал выдающийся русский судебный оратор А. Ф. Кони, — надо разуметь не богатство Гарпагона или Скупого рыцаря, объятые „сном силы и покоя“, на дне запертых сундуков, а свободно и широко тратимые обильные и даже неисчерпаемые средства» (Собрание сочинений, стр. 142).

Особый «устный» синтаксис, разнообразные средства звуковой выразительности придают ораторской речи большую свободу по сравнению с книжной. Стенограмма публичного выступления обычно очень ярко отражает это ее своеобразие. Однако не следует преувеличивать и переоценивать значение этой особенности устной речи.

Первое и важнейшее условие, которому должно удовлетворять синтаксическое строение фразы, — это ясность и доходчивость. Если к тому времени, когда говорящий заканчивает фразу, слушатели забыли ее начало, работа оратора окажется бесплодной.

Хорошо говорит лишь тот, кто ясно мыслит. Для того чтобы защитительная речь вылилась в совершенную форму (и по языку и по композиции), необходимо, чтобы ее содержание было тщательно продумано и выяснено самим оратором. Язык защитительной речи должен быть не только простым, ясным, точным, но и ярким, красочным. Общие мысли и отвлеченные доводы, не оживленные свежими мазками и впечатляющими образами, скользят по поверхности сознания слушателей.

Замечательный образец выражения общей мысли в образной форме мы находим в речи В. Д. Спасевича по делу об убийстве Нины Андреевской. Защитник проводит мысль о том, что в простые, бесхитростные факты дела (Андреевская утонула, купаясь) вплелась легенда, фантастический элемент. На фоне безупречно строгого, непревзойденного по глубине и скрупулезности анализа это место речи приобретает особенно сильное звучание:

«...Вам всем известны страны благословенные в теплом климате густого чернозема, земля тучная, благодатная, плодоносная, но дайте ей залежаться или засейте вновь, потому что раз вы не будете ее полоть, раз вы не будете ее истощать, пойдут бурьян, дикая ромашка и всякая другая гадость, и они заглушат хлеб; никуда не годных растений получится бездна, а зерна хлебного ни-ни. В художественном отношении эти зеленые волны выспавшей ромашки и этот разросшийся бурьян — красивее хлеба, но в хозяйственном — они злейшие враги. Я полагаю, что такое же отношение, как между бурьяном и агрономией, существует между практической жизнью вообще и легендой, поэзией, вымыслом, а в особенности между судом и легендой. Суд легенды не выносит, потому что двух господ он не имеет и слушает только одной сухой, простой, иногда вовсе непозитической, но зато бессмертной истине» («Судебные речи известных русских юристов», стр. 638—639).

Но образное слово не должно превращаться в пустоцвет, необходимо, чтобы оно выполняло определенную смысловую функцию. Перенасыщение речи образами неизбежно придает ей оттенок выпренности, «красивости».

Ряд ярких образов, выполняющих важную смысловую функцию, мы находим в речах выдающихся русских дореволюционных ораторов. Вот, например, развернутое сравнение из речи Ф. Н. Плевако по делу лютерических крестьян, обвинявшихся в бунте против властей. Говоря о стихийности вспыхнувшего восстания, оратор так характеризовал мотив поведения подсудимых.

«...Но подстрекатели были. Я нашел их, и с головой выдаю вашему правосудию: они — подстрекатели, они — зачинщики, они — причина всех причин. Бедность безысходная... бесправие, беззащитная эксплуатация всех и все, доведшая до разорения, — вот они подстрекатели! Одновременно, потому что одинаково невыносимо всем становилось, вспыхнуло негодование лютеровцев против бесцеремонного попиранья божеских и человеческих законов, и начали думать они, как им отстоять себя... И за эту думу сидят они теперь перед вами. Вы скажете, что это невероятно... Войдите в зверинец, когда настанет час бросать пищу оголодавшим зверям; войдите в детскую, где проснувшиеся дети не видят няни. Там — одновременное рычание, здесь — одновременный плач. Поищите между ними подстрекателя... и он найдется не в отдельном звере, не в старшем или младшем ребенке, а найдете его в голоде или страхе, охватившем всех одновременно...» (Ф. Н. Плевако. Речи. Т. I. М., 1912, стр. 309).

А вот пример удачного сравнения из речи советского адвоката по делу об убийстве на острове Врангеля. Защитник Семенчука, адвокат Н. В. Комподов, оспаривая целесообразность приписываемого подсудимому подстрекательства Старцева к убийству доктора Вульфсона, между прочим, сказал:

«...те улики, которые прекрасным предварительным и судебным следствием собирались так тщательно, так усердно и на которых теперь построена целая система обвинения Семенчука, — меня лично не убеждают в целесообразности его действий. Разбросанные клавиши не есть клавиатура, как разрозненные звуки не есть аккорд. Клавиатурой они будут только тогда, когда вы расположите их в определенном порядке и под ними будет лежать музыкальная основа. Разрозненные косвенные улики могут быть системой доказательств, если есть основная обвинительная база в виде достигаемой цели и достаточных мотивов преступления» («Стенографический отчет заседания Верховного суда РСФСР по делу К. Д. Семенчука и С. П. Старцева». М., 1936, стр. 528).

Выдающиеся русские судебные ораторы нередко включали в свои защитительные речи литературный материал. Иногда произведение цитируется не текстуально, но влияние его отчетливо об-

наруживается в речи оратора. В речи советского адвоката К. Д. Чижова по делу о хищениях в кооперативных строительных организациях остроумно использован щедринский персонаж для разоблачения попытки «соблазненных» должностных лиц свалить свою вину на главного обвиняемого:

«Ведь это в гениальной сатире Салтыкова-Щедрина впадшему в транс попу только понюхать дали червонец, и он сразу заговорил стихами из оперного либретто. Но ведь то сатира, допускающая гиперболизацию как литературный прием, ведь то поп, а ныне не те люди, не то право, не та мораль, не те требования к людям, и даже поп не тот...» («Защитительные речи советских адвокатов». М., 1956, стр. 215).

Защитительная речь должна быть не прочитана по написанному, а устно произнесена, она должна создаваться в непосредственном общении с аудиторией. Только тогда осуществится подлинный творческий контакт адвоката со слушателями, содержание речи будет полностью донесено до сознания судей, и защитник выполнит свою основную задачу — способствовать правильному и справедливому решению дела.

Кандидат юридических наук
В. Д. ГОЛЬДИНЕР

2

О культуре деловой речи

Дано сие тому-сему (такому-сякому) в том, что ему разрешается то да се, что подписью и приложением печати удостоверяется.

За такого-то.

За сякого-то.

Учреждение «Аз емь».

Из «Записных книжек» И. Ильфа

Пародирование деловых бумаг и формул давно уже стало излюбленным приемом сатирической литературы. Причины этого надо искать не только в эффективности и, если можно так выразиться, эффективности этого приема, но и в том, что неуместное использование слов и выражений из официально-деловой речи — одна из основных причин многочисленных нарушений стилистических норм в современном русском языке. «Этот департаментский стиль внедрился и в наши бытовые разговоры, и в переписку друзей, и в школьные учебники, и в критические статьи...», — пишет К. И. Чуковский, метко окрестивший эту речевую болезнь словом «канцелярит». Однако борьба против канцелярита не должна приводить к забвению принципа: настоящая культура речи предполагает правильное использование языковых средств, т. е. владение различными стилями литературного языка. Следовательно, и вопрос о правильности делового общения — сферы, которая в большей или меньшей степени касается всех нас, — неотъемлемая сторона культуры речи.

Деловая речь имеет дело преимущественно с документами — письменным выражением отношений в деловой сфере (между организациями или

между частным лицом и организацией). И принципиальная черта деловой письменности состоит в тенденции к максимальной зависимости формы изложения от характера информации. Именно характер информации заставляет нас избрать тот, а не иной жанр документации: для просьбы об отпуске — заявление, чтобы сообщить о возвращении из отпуска — докладную записку, для предоставления кому-либо полномочий — доверенность (или удостоверение) и т. д. Но выбор данного жанра в свою очередь означает обязательность определенной формы документа (присущей именно этому документу — в отличие от других).

Поясним, что мы подразумеваем под «формой документа». Отдельные элементы содержания, из которых состоит документ (название документа, подпись, дата и др.), в делопроизводстве принято называть реквизитами; совокупность реквизитов какого-либо документа называется его формуляром. Форма документа — это сумма реквизитов с указанием их взаимосвязей и последовательности изложения. Таким образом, знание и понимание формы различных документов — необходимое условие владения деловой речью.

Рассмотрим особенности формы некоторых деловых документов. Ограничимся теми, которые (в отличие от готовых форм — бланков, выдаваемых учреждениями, например, справки, договоры) приходится составлять нам самим и которые уже поэтому доставляют затруднения пишущим: эти документы адресуются каким-либо лицом учреждению и, таким образом, требуют от пишущего знания формы нужного документа.

Перечитайте эпиграф к статье, и вы увидите, что, несмотря на пародийную форму (а, может быть, благодаря ей: ведь пародия в существе своем есть утрированное воспроизведение типических черт явления), в нем содержатся и характерные черты и логическая схема пародируемого документа — удостоверения. Мы воспользуемся для характеристики рассматриваемых ниже документов понятиями: составная часть содержания документа, его формуляр и логическая схема, отражающая взаимосвязь и расположение составных частей.

1. Р а с п и с к а — документ, подтверждающий получение чего-либо, следовательно, в нем должны быть такие составные части: 1) наименование документа; 2) наименование получателя (автора документа) — должность, фамилия, имя, отчество; 3) наименование передающего — организации или лица (должность, фамилия, инициалы); 4) точное наименование получаемого (передаваемого) — количество указывается и цифрой и прописью; 5) подпись получателя; 6) дата. Схема расположения элементов расписки выглядит так:

<i>Расписка.</i>	
<i>Я, Иванов Леонтий Михайлович, лаборант кафедры математики, получил от Спортивного совета при месткоме 2 (две) пары лыжных ботинок.</i>	
<i>20 декабря 1967 г.</i>	<i>Иванов</i>

1	
<i>Я (мною) 2 получил</i>	
<i>(получено) от 3</i>	
4	
6	5

2. Вот образец документа, противоположного расписке по содержанию, — счет. Счет — документ, предъявляемый учреждению и содержащий требование оплаты проделанной работы. Составные части счета: 1) адресат (наименование учреждения или должностного лица); 2) наименование автора документа (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность или адрес и данные паспорта — серия, номер, кем выдан); 3) наименова-

ние документа; 4) сумма, подлежащая выплате (количество указывается и цифрой и прописью); 5) мотивировка требования; 6) подпись; 7) дата. Расположение элементов расписки:

<p style="text-align: center;"><i>Директору школы № 9</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Григорьева Сергея Михайловича, проживающего по ул. Беллинского, дом 5, кв. 18, паспорт серия №, кем выдан, Счет.</i></p> <p><i>Прошу оплатить мне проделанную работу по ремонту батареи:</i> <i>1) разборка стены, 2) смена колец на вентиле — всего на сумму 3 (три) рубля.</i> <i>25 февраля 1967 г. Григорьев</i></p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td></td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><i>Прошу уплатить за что (оплатить что)</i></p>	1				2		3				4				5	7		6
1																			
	2																		
3																			
	4																		
		5																	
7		6																	

3. Доверенность — документ, содержащий поручение кому-либо определенных действий (от имени доверителя). Составные части доверенности: 1) наименование документа; 2) наименование доверителя (фамилия, имя, отчество, должность или адрес); 3) наименование доверенного лица (фамилия, имя, отчество, должность или адрес); 4) точное и исчерпывающее определение доверяемой функции; 5) подпись; 6) дата. Но доверенность приобретает законную силу только в том случае, когда 7) подпись доверителя заверена какой-либо организацией: формула «подпись такогото удостоверяется», подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) — с указанием должности, дата и печать организации. Таким образом, схема расположения составных частей доверенности:

<p style="text-align: center;">Доверенность.</p> <p>Я, Куликова Пелагея Михайловна, проживающая по ул. Чернышевского, дом 8, доверяю Шашкову Александру Ивановичу, проживающему по ул. Чернышевского, дом 14, паспорт серия №, кем выдан, получить причитающуюся мне за декабрь 1967 г. пенсию. 22 ноября 1967 г. Куликова Подпись Куликовой П. М. удостоверяется. Делопроизводитель ЖЭКа № 28 (дата) (печать) (подпись)</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(Я)</td> <td style="text-align: center;">2 (доверяю)</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">7</td> <td></td> </tr> </table>		1		(Я)	2 (доверяю)	3		4		6		5		7	
	1															
(Я)	2 (доверяю)	3														
	4															
6		5														
	7															

4. Заявление — документ, содержащий предложение, жалобу или просьбу какого-либо лица, адресованные организации или должностному лицу. Составные части заявления: 1) наименование адресата (учреждения или должностного лица); 2) наименование заявителя (автора документа) — фамилия, имя, отчество, должность или адрес; 3) наименование документа; 4) точная формулировка просьбы (жалобы, предложения) и краткой, но исчерпывающей аргументации; 5) опись приложенных к заявлению документов («приложение»), если это необходимо; 6) подпись; 7) дата. Схема расположения составных частей заявления:

<p>Директору магазина № 222 Москниготорга продащицы Мухиной Нины Константиновны</p> <p>Заявление.</p> <p>Прошу предоставить мне очеред- ной отпуск на 18 рабочих дней с 10 по 30 августа включительно.</p> <p>1 августа 1967 г. Мухина</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>7</p> <p>6</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

5. Докладная записка по содержанию и форме близка к заявлению. Но если заявление — это обращение любого лица к организации, то докладная записка — обращение сотрудника к руководителю учреждения, содержащее информацию или предложение (но не просьбу или жалобу — в этих случаях составляется заявление; ср. и разницу в типичных началах: заявления — «Прошу...» и докладной записки — «Довожу до Вашего сведения...»). Следовательно, составные части докладной записки те же, что и заявления, т. е.: 1) наименование адресата — должностного лица; 2) наименование автора документа (должность, фамилия, инициалы); 3) название документа («Докладная записка»); 4) информация (или предложения) с соответствующей аргументацией; 5) подпись; 6) дата. Схема расположения составных частей докладной записки — та же, что и заявления

<p>Директору завода Леонтьеву В. К. и. о. начальника отдела главного механика Петрова Б. А.</p> <p>Докладная записка.</p> <p>Считаю необходимым направить сотрудника отдела Кузнецова Л. С. в Ленинград для ознакомления с опытом работы смежных предпри- ятий по выпуску запасных частей.</p> <p>29 сентября 1967 г. Петров</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>6</p> <p>5</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Иногда спрашивают: каков правильный порядок — сначала просьба (информация, предложение), а затем уже аргументация, или наоборот (т. е. «Прошу... в связи с тем, что...» или «В связи с тем, что... прошу...»)? Здесь нельзя установить раз и навсегда один определенный порядок: допустимы обе возможности, важно лишь, чтобы конкретное изложение было ясным.

Во всех рассмотренных документах есть одна (общая) составная часть, которая требует пояснений, — подпись. Из схем очевидно, что ставится она внизу, с правой стороны, но часто задают вопрос: как правильно оформить подпись? По существующим в делопроизводстве правилам, подпись должностного лица включает в себя три элемента: 1) обозначение должности подписавшего; 2) сама подпись; 3) указание (раскрытие в скобках) инициалов и фамилии подписавшего документ. При этом в скобках даются инициалы — две буквы (имя и отчество) или одна (только имя); и то и другое является допустимым. Таким образом, правильное оформление подписи должностного лица:

Директор школы № 9

(Е. И. Петров)

Заведующий базой № 16 Мосхлебторга

(Д. Иванов)

Другая составная часть многих документов, вызывающая затруднения, — это наименование автора документа (наверху, справа, между указанием адресата и наименованием документа). Обычно пособия по деловой речи указывают следующий порядок: фамилия, а затем имя и отчество (или инициалы) — все это в родительном падеже без предлога (см. образец счета, заявления, докладной записки); при этом исходят из того, что вся рассматриваемая часть документа представляет собой одно предложение (обратите внимание на пунктуацию: точка ставится только после слова «Заявление»), не содержащее глагола и являющееся разъяснением — кому и чье заявление, счет и т. д. Однако в некоторых руководствах и часто на практике можно встретить здесь и родительный падеж с предлогом «от» (особенно когда сталкиваются две фамилии — в наименовании адресата и наименовании автора, например: «Директору школы № 9 Е. И. Петрову + от Михайловой А. П.»); этот случай отражает обычную смысловую связь «заявление — от кого» (как, скажем, «письмо — от кого»). Очевидно, что закономерны оба эти способа — и родительный беспредложный и родительный с предлогом «от» (хотя первый и преобладает). Следовательно, наименование автора документа может быть оформлено двояким образом:

Директору школы № 9

*от Григорьева Сергея Михайловича, проживающего
по ул. Белинского, дом 5, кв. 18, паспорт серия №,
кем выдан,*

Счет.

Директору школы № 9

*Григорьева Сергея Михайловича, проживающего по ул. Бе-
линского, дом 5, кв. 18, паспорт серия №, кем выдан,*

Счет.

И еще одна тонкость: наименование адресата ставится в дательном падеже — если указывается должностное лицо (Директору... Заведующему... Начальнику... Председателю...); если же адресат — наименование учреждения, то оно ставится в именительном падеже:

Центральная база Москультаорга

Ивановой Нины Петровны, проживающей по ул. Добролюбова, дом 3, кв. 8,

Заявление.

Многие испытывают затруднения в связи с управлением при слове *характеристика* (в названии документа): характеристика + *кого* (родительный падеж), *на кого* (винительный падеж с предлогом *на*) или *кому* (дательный падеж)? Способом выражения, соответствующим литературной норме, здесь следует считать родительный падеж, однако в деловой сфере в силу традиции принято большей частью ставить «*на* + винительный падеж», следовательно, возможны оба способа выражения (второй является характерным канцеляризмом):

Характеристика

Иванова Петра Борисовича

Характеристика

на Иванова Петра Борисовича

Дательный падеж при слове *характеристика* возможен только при глаголе, управляющем данным падежом (например: *написать* характеристику *Иванову*), поэтому в наименовании документа он не употребляется.

Итак, письменная деловая речь есть по существу совокупность стандартов, необходимых в официально-деловых отношениях; стандарты эти включают в себя как формы документации, так и соответствующие им речевые способы изложения. При таком характере деловой письменности подходить к языку документов с требованием богатства и разнообразия языковых средств (как подходит к языку художественных или публицистических произведений) немислимо. Наоборот, как мы уже знаем, и форма и способ изложения документов служат единообразному выражению мысли в определенных (типичных) деловых отношениях. Главным здесь является соответствие жанру документации, а стремление к лаконичности изложения при максимуме информации накладывает на пишущего особую ответственность за точность формулировок. Язык документации, как и язык законов, «требует прежде всего точности и невозможности каких-либо криво толков» (Л. В. Щерба. Современный русский литературный язык.— «Избранные работы по русскому языку». М., 1957, стр. 149).

Б. С. ШВАРЦКОПФ,
научный сотрудник Института
русского языка АН СССР

Литература о формах деловой речи:

Акопьян О. С., Никифоров С. В. Документы, делопроизводство, машинопись (практическое руководство). Ростов, 1966.

Вартанян Л. И., Лившиц Я. З., Митяев К. Г., Цикулин В. А. Делопроизводство. Учебное пособие для учащихся средних школ с производственным обучением по профессии референт по делопроизводству. М., 1964.

Киперберг М. А. Деловая корреспонденция предприятия. М., 1967.

Копытов П. А. Корреспонденция и делопроизводство. М., 1959.

Фролов А. Д. Делопроизводство в советских учреждениях. М., 1953.

Пойди туда, не знаю куда.
Купи то, не знаю что.

Русская народная сказка

Нежные вывески. Вывески преобразились. Еще в прошлое десятилетие на них царили инвентарные номера и бездушно-канцелярские аббревиатуры, вроде «Магазин № 27 Мосгорплодоовощторга» или «Столовая № 983 Райобщепита». Словно бы в знак протеста против этого косноязычного безличия, магазины, столовые, мастерские и предприятия вслед за ресторанами и кинотеатрами расцвели свои вывески красивыми и нежными словами.

Мы идем по улицам похорошевших наших городов и с умилением читаем: магазин «Светлячок», ателье «Красная шапочка», гастроном «Дружба», кафе «Хрустальное», столовая «Ромашка», универмаг «Ландыш», магазин «Лесная быль», кинотеатр «Мечта», а впереди — кафе «Дружба», кинотеатр «Ромашка», магазин «Березка», фабрика «Березка», кафе «Ландыш» и т. д.

Увлечение наименованием магазинов, учреждений, предприятий вырастает в одну из немаловажных проблем культуры речи. Эта эстетическая и лингвистическая проблема волнует и специалистов-языковедов, и многих любителей и ревнителей русского слова, и работников, несущих ответственность за облик наших городов.

Что хорошо, что плохо в увлечении собственными именами? Всегда ли они нужны и уместны? Какого характера названия предпочесть и поддерживать, а что, может быть, потеснить? —

эти вопросы назрели для обсуждения. Лингвистов здесь может интересовать и собственно теория: Каково место этого ряда названий в системе лексики? К какому разделу топониматики их отнести? Как они соотносятся с понятиями? Какие стилистические круги и словообразовательные модели вовлекаются в эту сферу и т. п.

Но читателям «Русской речи» важнее, по-видимому, практическая, прикладная сторона дела. Для ответа и на практические и на теоретические вопросы прежде всего надо решить, каково назначение вывески.

Вывеска — это посредник между учреждением и человеком. Она называет учреждение (это ее номинативная функция), информирует (информативная функция) и — в случае необходимости — привлекает, заинтересовывает (рекламная функция). То или иное сочетание функций определяется характером учреждения.

Название, запечатленное на вывеске, может быть нарицательным, типовым, для ряда подобных (Универмаг, Гастроном, Обувь, Чистка одежды, Парикмахерская) или собственным, индивидуальным, если есть необходимость выделить учреждение (универмаг «Москва» и «Детский мир», кинотеатр «Россия», ресторан «Араги», гостиница «Колос» и т. д.).

Названия канцелярские или человеческие? В нарицательном наименовании учреждений — свои сложности: номинативная и рекламная функции

подчинены информативной. Но при этой смысловой нагрузке главными достоинствами любого названия остаются лаконичность и человечность. Поэтому вопрос о том, например, как именовать магазины — по ведомству или по товару, решается в пользу краткого и точного названия товара. Неудобочитаемые построения «Мосгорхлебторг», «Мосодежда», «Электросбыт» уступили место на вывесках простым и ясным словам «Хлеб», «Одежда»; вместо «Строчевышитых изделий» — «Вышивка», вместо «Электробытовых товаров» — «Свет». Существуют опасения, что краткая вывеска не отражает разнообразия товаров в магазине или блюд в кафе. Но вывеска ведь не ассортимент и не меню. Информация, содержащаяся в ней, в известной мере условна, символична и при необходимости может быть дополнена надписями в витринах и на картушах.

Нарицательные наименования, как явление более раннее, прочнее хранят следы бюрократического стиля. За высмеянные К. И. Чуковским «Палочные изделия», «Чулочно-носочные изделия» и тому подобные «Мыломоющие средства» с упорством держатся еще некоторые администраторы, которые полагают, что ложнозначительные слова из канцелярских реестров прибавляют значительности их скромным учреждениям. Но ведь никто не говорит в жизни: «Я пошел в отделение связи купить знаки почтовой оплаты» или «Схожу-ка в магазин за чулочно-носочными изделиями! Наверное, та вывеска удачна, с которой официально утвержденное название сходит в жизнь, принимается теми людьми, для которых оно и учреждено.

Процесс «очеловечивания» вывесок идет, конечно, не сам по себе. Стимулируемый тенденциями нашей об-

щественной жизни, в Москве, например, он осуществляется в значительной мере усилиями редакционной комиссии, созданной в 1965 году в Моссовете, при Главном архитектурно-планировочном управлении. В составе ее — представители всех заинтересованных ведомств, художники, архитекторы, писатели, языковеды. Комиссии поручено пересмотреть и утвердить названия различных предприятий — зрелищных, торговых, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания.

Комиссия еще не стала настоящим хозяином московских вывесок, хотя многие ее решения, воплощенные в светящиеся неоновые слова, радуют глаз москвичей. Важно, однако, то, что выработываются определенные принципы, которые ведут к упорядочению вывесок.

«Дашь изячную жизнь!». При отборе типовых значений комиссия борется не только с канцеляризмами, но и с мешанской претенциозностью, которая проявляется в увлечении «салонами», «павильонами», «дворцами» и т. д. Продолжают плодиться «Салоны красоты», «Салоны одежды и белья», даже «Салоны химчистки и ремонта обуви».

Вот справка из «Словаря русского языка» С. И. Ожегова:

Салон. — В буржуазно-дворянском быту: комната для приема гостей в барском доме, гостиная (устар.).

А вот цитаты из беседы журналиста с руководителями соответствующих ведомств:

«Мы открыли в столице высокомеханизированные салоны, где за день чинят 800 пар...».

«В салонах - парикмахерских, швейных, обувных — мы встречаем добросовестных исполнителей...» («Неделя», 1967, № 39).

Какие великосветские встречи! В комиссию поступило предложение даже новый бассейн именовать

«Дворцом подводного спорта». Пишут «Душевой павильон» вместо «Душ». Возникают нелепые сочетания «Павильон проката», хотя помещается этот «павильон» в нижнем этаже большого современного дома, или «Ателье проката», хотя известно, что ателье — это мастерская, где делают вещи. Почему, кстати, «ателье» вытесняет хорошее, уважительное русское слово «мастерская»? Может быть, «Шляпная мастерская» и «Слесарная мастерская» лучше, чем «Ателье головных уборов» и «Ремонт металлоизделий»? А «ремонт», вытесняющий «починку», — не только «Ремонт квартир» и «Ремонт радиоаппаратуры», но и «Ремонт белья», «Ремонт трикотажных изделий»? Ведь не говорят: «Отнесу в ремонт чулки и рубашку», потому что мы их чиним, а не ремонтируем. Среди работников сферы обслуживания, однако, укрепилось мнение, что «мастерская», «починка» чуть ли не уничижительные слова рядом с «салонами», «ремонтами» и «ателье». Оказывается, воспитанию дурного вкуса способствует... Министерство финансов: в «Салоне», «Ателье» или во «Дворце» платят больше, чем в мастерской, парикмахерской или Доме культуры. Вот что усиливает тягу к «красивым» вывескам. Очевидно, редакционной комиссии придется вступить в переговоры и с финансовыми органами.

Любопытное наблюдение:

«Со всех сторон раздаются голоса о том, что в каждом городе должен быть Дворец бракосочетаний... А вот из разговоров со студентами мы выяснили, что студент предпочитает жениться и выходить замуж в обыкновенном загсе. Интересно, почему?» («Комсомольская правда», 22 ноября 1967).

«Сосиски» или «Сосисочная»? Для типовых названий остается еще от-

крытым такой вопрос: что предпочтительнее — «Хлеб» или «Булочная»? «Шашлыки» или «Шашлычная»? Для включения слова в бытовой контекст, в обиходную речь более удобны, более емки семантически названия второго типа, которые одновременно обозначают и заведение и его специализацию. Ведь покупаем мы в булочной и в овощном, а не в «Хлебе» и в «Овощах», и обедаем в шашлычной, а не в «Шашлыках». (Разговорный язык осваивает и предметные названия, можно слышать: «Купила в „Сыре“», но более строгая норма требует усложненного: «Купила в магазине „Сыр“»). В конце концов, и «павильон» или «ателье» проката не просто бессмыслица, а результат неумелых, но законных поисков названия типа учреждения.) Очевидному преимуществу субстантивированных прилагательных противостоит потребность типами названий разграничить учреждения торгующие и учреждения кормящие (ср. «Чай», «Молоко» как названия магазинов и «Чайная», «Молочная» — «Молочное» — как названия закусочных, кафе). Языковые традиции не позволяют провести это разграничение последовательно (ср. «Хлеб», «Булочная», «Булочная-кондитерская», «Кондитерский» как названия магазинов и «Кондитерская» — «Кондитерское» — как название кафе). К тому же, ограничены и возможности образования прилагательных для наименования специализированных кафе. Если «Шашлыки» и «Шашлычная», «Блины» и «Блинная», «Пельмени» и «Пельменная» могут восприниматься как равноправные по звучанию конкуренты, то «Котлетная», «Сосисочная», «Варениковая» («Вареничная»), «Пончиковая» кажутся просто неблагозвучными или, во всяком случае, непривычными.

Не найдены до сих пор удачные замены безобразным типовым вывескам «Культтовары», «Промтовары», «Канцтовары».

Право на имя. Но вернемся к именам собственным. Они призваны прежде всего выделить учреждение из ряда подобных, отметить его индивидуальность, непохожесть. По-видимому, в первую очередь должен решаться вопрос о праве того или иного учреждения на собственное имя. Типовым, стандартным учреждениям, не различающимся ни по ассортименту, ни по качеству работы, ни по оформлению помещения, целесообразно сохранять типовые названия, деловые и строго информативные: Ткани, Обувь, Гастроном, Продукты, Галантерея, Столовая, Парикмахерская, Аптека и т. п.

Названия «Мечта», «Радость» не могут выделиться рядовому магазину обуви, как не помогает вывеска «Романтики» ординарному «кафе самообслуживания» с алюминиево-пластиковыми столиками и неизбывным запахом тушеной капусты.

Конечно, с полным основанием носят собственные имена крупнейшие универмаги, специализированные магазины, гостиницы и рестораны, различающиеся национальным колоритом, убранством, кухней, кинотеатры, для которых вывеска — и адрес и фирменный знак. Во многих городах детские магазины выделяются среди «взрослых» не только веселыми витринами, но и хорошими, сказочными, ласковыми именами: «Веселые грачи», «Золотой ключик», «Машенька», «Детский мир» и т. п.

Наверно, и маленький магазин, когда он чем-то примечателен, своеобразен, имеет право на собственное имя. Только начинается своеобразие не с имени. Особыми названиями украшаются магазины и прочие учреж-

дения на центральных улицах городов, потому что там все они — большие и хорошие. И вот идет наводнение улиц именами. Надо взглянуть на такую улицу с точки зрения и художественного решения и воздействия на прохожего. Улица перестала быть «безъязыкой», она становится чересчур словоохотливой, она обрушивает на прохожего поток собственных имен, который и утомляет и, в конце концов, просто дезориентирует. Названия перестают запоминаться, перестают служить различительным знаком и таким образом теряют смысл, уподобляются архитектурным излишества.

Тысяча «Тысяч мелочей». Сила собственного имени — в его единственности, неповторимости или хотя бы неповторяемости. Когда люди с бедной фантазией переносят кем-то найденное удачное название с вывески на вывеску, оно перестает служить свою службу. Так получилось с «Тысячей мелочей». Однажды удачно найденное для хозяйственного магазина с расширенным ассортиментом, это название перекечало в разные районы Москвы, а затем и в другие города, утрачивая свежесть и даже смысл. Во Владимире эта вывеска красуется над обычным посудным магазином (находчивее и скромнее оказались калужане, выдвинув встречный вариант «Пятьсот мелочей»). При многократном повторении такое имя перестает быть собственным, индивидуальным, но не становится и типовым, фирменным... Тогда зачем оно?

Еще хуже, когда одно и то же «модное» название украшает совершенно различные учреждения. Гастроном «Спутник», галантерея «Спутник», кафе «Спутник», гостиница «Спутник», кинотеатр «Спутник»; кафе «Весна», кинотеатр «Весна», торговая

фирма «Весна»; кинотеатр «Прогресс», молочный магазин «Прогресс», издательство «Прогресс»; кафе «Заря», кинотеатр «Заря», фирма бытовых услуг «Заря»; кафе «Дружба», кинотеатр «Дружба», обувной магазин «Дружба» и тому подобные серии — это только в Москве и уже после того, как редакционная комиссия приняла некоторые (видимо, не очень решительные) меры против разрастающейся «омонимии».

«Теперь принято давать магазинам и ресторанам оригинальные названия, чтобы они отличались друг от друга. Поэтому почти все рестораны и многие магазины оригинально называются „Березка“», — объясняет ситуацию писательница Н. Ильина («Крокодил», 1966, № 23).

Возникает и другая, крайне нежелательная омонимия. Названия универсагов «Москва», «Ленинград» создают явные затруднения в общении людей:

- Ты куда? — «В Ленинград».
- Вы откуда? — Из «Москвы».
- Где купили? — В «Ленинграде».

Таким образом, и многочисленность, и дублирование, и омонимия — враги номинативной функции собственных имен. Осуществлению их информативной функции способствует системность и мотивированность. Складываются известные традиции: называть учреждения того или иного типа словами из одного семантического круга. Художники поддерживают однотипность названий изобразительным решением вывесок. Так, в Москве гостиницы и крупные рестораны носят имена столичных городов («Варшава», «Будапешт», «Бухарест», «Прага», «Берлин», «Пекин», «Минск» и т. д.), именами камней-самоцветов называют ювелирные магазины («Изумруд», «Топаз», «Алмаз» и т. п.),

словами, напоминающими о холоде, о зиме — кафе-мороженые («Север», «Пингвин», «Снегурочка», «Снежок» и т. д.).

Есть и другая возможность. Чтобы ограничить поток собственных имен, может быть, стоит всем ювелирным магазинам, всем кафе-мороженым и подобным однотипным заведениям дать единое собственное имя (например, тот же «Алмаз», «Пингвин»), которое будет для них фирменным знаком. Целесообразность того или другого варианта может быть обсуждена.

Такая системность сама по себе информативна и заслуживает поэтому всяческой поддержки. Но тогда уж не надо параллельно присваивать кинотеатрам имена «Варшава», «Алмаз», «Янтарь» и «Север».

Слово и его смысл. Связывая слово с реальным объектом, название не только отличает этот объект от других, но и что-то сообщает о нем. Вывеска должна помогать ориентироваться, найти искомое.

Догадается ли человек, отправившийся купить ботинки, что светящиеся буквы «Дружба» и обозначают нужный ему магазин? А вывеска «Спутник» — будет ли она путеводной звездой для приезжего, который ищет, где продается колбаса? По сведениям топонимиста В. А. Никонова, в Ульяновске молоком (не птичьим) торгуют магазины «Чайка» и «Ласточка», магазин «Ландыш» — запасными частями, а «Космос» — ландышами. Как сообщил нам В. Я. Дерягин, магазин Сурского сельпо Пинежского района Архангельской области — обыкновенный сельский магазин с одним продавцом, где торгуют и конфетами, и сицеом, и обувью, — тоже «Космос».

«В Кисловодске есть магазин „Сюрприз“, — пишет газета „Кавказская здравница“ (7 апреля 1967). — Догадайтесь, чем там торгуют? Сувенирами, подарками?

Нет, многообещающая вывеска венчает мебельный магазин. Видимо, в нем иногда можно приобрести что-нибудь подходящее, недорогое для новоселов», — иронически пытается осмыслить это название автор заметки. И далее: «Когда увидишь вывеску „Малышка“, можно подумать, что там торгуют детскими распашонками, сосками, игрушками. И опять промах. Кондитерский магазин!».

«Названия должны помогать покупателям», — с этим выводом автора трудно не согласиться.

Чем может быть мотивировано название? Специализацией предприятия (магазин «Башмачок», кафе «Русские пироги», ресторан «Узбекистан»), адресованностью его ассортимента (магазины «Малыш», «Турист», «Богатырь» — торгующий одеждой только больших размеров), особенностями оформления интерьера или витрин (кафе «Метелица», магазин «Малахитовая шкатулка», магазин «Три порошенка») и т. д., местоположением (кафе «У телеграфа», «На развилке», ресторан «Арбат», ресторан «Седьмое небо» на Останкинской телебашне; еще лучше, наверно, было бы «На седьмом небе»).

Кстати, наименования в форме предложно-именной конструкции широко распространены в европейских странах. Например, чехословацкие «У воды» (улица в Праге), «На биле Горе», «Под соколим» (дачные места), «У чаши», «У Карла Великого» (кафе) очень симпатичны для русского уха, может быть, потому, что соответствуют названиям, искони принятым в русской микротопонимике.

Да мало ли еще возможностей, простора для фантазии. Вот как, например, в заметке «„Стеклышко“ светится по субботам» вологодская газета «Красный север» (18 августа 1967) объясняет, почему новое молодежное кафе в Чагоде назвали «Стеклышком»: не только потому, что

большинство его посетителей работает на стекольном заводе, а потому, что «в кафе, разместившемся в прекрасном зале, большие светлые окна, и уютно сияют плафоны на потолке...».

«А это наш ресторан „Сквознячок“, — с юмором, с гордостью и тревогой показывает директор длинное помещение со стенами из фанеры и брезентовым потолком, выросшее на территории завода „Вымпел“ и продолжающее кормить рабочих горячей пищей, пока идет капитальный ремонт в столовой» («Вечерняя Москва», 13 сентября 1967).

Писательница В. Карбовская предлагает изменить форму некоторых названий: не «Машенька», «Тимур», а «У Машеньки», «У Тимура» (А как удобнее говорить: купил «У Машеньки», «У Тимура» или в «Машеньке» и в «Тимуре?») и чтоб в этих магазинах или кафе были изображены сами эти хозяева: Машенька, Руслан, Тимур, нарисованные или деревянные, эмблема, марка, герб, как угодно («Скажите, пожалуйста», Библиотека «Огонек», 1966, № 37).

Активнее должны бы выступать архитекторы и художники в качестве «крестных отцов» проектируемых ими заведений. Кому, как не им, вдохновенным словом выразить творческий замысел своей работы?! А литераторы, поэты, острословы-журналисты? До сих пор некоторые из них главным образом высмеивали плохие названия. Однако полезен был бы не только негативный вклад.

Нашлось бы дело и для историков, краеведов. Они — у бесценного источника мотивированных названий. Наши предки умели называть свой мир поэтично. С перестройкой, реконструкцией городов уходят в небытие не только старые дома и улицы, уходят из памяти живущих и их названия. Многие из этих имен могли бы сохраниться для следующих поколений,

обрести вторую жизнь, как имена новых улиц и учреждений, выросших на тех же местах. Как эстафету времен принял новый кинотеатр имя «Зарядье», как памятники историческим событиям стоят кинотеатры «Бородино» на Можайском шоссе и «Баррикады» на Красной пресне. Но только на старинных картах Москвы остались ручей Золотой Рожок, Сокольничье поле, Красная горка. Эти и другие имена ждут возрождения. Слово за «хранителями древности».

Преимущества мотивированных наименований перед немотивированными очевидны. Мотивация названия может быть внутренней и внешней, содержательной и условной, серьезной и шутилкой, но она должна быть, как непреломное условие номинативности и информативности вывески.

Специалисты по-разному судят о принадлежности этих наименований к разрядам имен нарицательных и собственных. Профессор А. А. Реформатский, очевидно, не включал их в разряд собственных, когда писал, что «собственные имена не соотносены с понятиями, они семантически редуцированы» (см. его статью в сб. «Топонимастика и транскрипция». М., 1964). Несомненно, соотношение интересующих нас имен с понятиями опосредована и чрезвычайно своеобразна, но дело, по-видимому, еще и в том, что роль собственных имен для них вторична, а в первичном состоянии одни из них сами по себе — собственные, а другие — нарицательные (ср. гостиница «Москва» и гостиница «Юность», улица Полянка и улица Чехова и т. п.).

Юмор — лучшая реклама. Кстати, о шутилых названиях. Как робко и с каким трудом пробивает себе юмор дорогу на вывески, сколько на этом пути пропадает выдумки, остроумных идей! Для многих «утверждающих инстанций» привычнее парадная риторика, чем человеческая шутка. С ка-

кой серьезностью боролись руководители московского общественного питания против столовой «Приятного аппетита» за столовую «Эпоха», не понимая, что вопреки их желанию, комический эффект создается несоответствием предмета и названия.

Возвышенные и гордые слова «Авангард», «Рекорд», «Эпоха», «Космос», «Родина», «Мечта» на вывесках неприязательных заведений изнашиваются, обесцениваются. Не стоит их употреблять всуе.

А на вывесках — пусть больше будет веселых, легких, остроумных названий. Они и запомнятся лучше, и заинтересуют, привлекут, да и просто поднимут настроение у прохожего, у посетителя. Конечно, вкусы у людей разные, и восприятие слов может быть разным. Но связь между словом и его назначением должна быть осмысленной. Тогда не назовут «Эльбрусом» закусочную в подвальном этаже, «Стартом» или «Финишем» — кафе с горячительными напитками. Но может быть, и это — юмор? (Как не вспомнить здесь ресторан «Финал» на горестном пути бессмертного отца Федора Вострикова?)

Это наше общее дело. Если набор красивых слов для названий становится стандартным, если слова эти обесмысливаются, не превращаются ли собственные имена под равнодушной рукой чиновника в свою противоположность, не смыкаются ли с номерами?

Уберечь вывески от равнодушных и «глухих» к языку людей — дело общечеловеческости.

Вывески могут стать настоящим украшением города. Дети по ним учатся читать.

Надо оградить вывески и от неправданного пафоса (Дом культуры «Созидатель» — еще один пример), и от слащавой сентиментальности (заси-

лие уменьшительно-сюсюкающих суффиксов), и от претенциозного шика (ателье «Элегант» в Перми — чем не «Шик паризьен» мадам Анжу, прославленный М. Булгаковым?).

Общественный вкус найдет верную дорогу среди всех этих рифов, если

соединятся усилия заинтересованных людей — грамотных, изобретательных, с живым умом и чувством меры.

Научный сотрудник Института
русского языка АН СССР
Б. З. БУКЧИНА
Кандидат филологических наук
Г. А. ЗОЛотова

ЯЗЫК В «ДЕТСКОЙ» ЭНЦИКЛОПЕДИИ»

«Детская энциклопедия» давно уже завоевала признание своих главных читателей — школьников и подписчиков-родителей; вряд ли поэтому она нуждается в рекламе. И если мы хотим привлечь внимание читателей «Русской речи» на вышедший одиннадцатый том второго издания «Детской энциклопедии» (М., изд-во «Просвещение», 1968), то только потому, что он содержит в себе близкий нам по предмету раздел «Язык» (такого раздела не было в первом издании).

Для того чтобы научить школьников бережному и сознательному отношению к русскому языку, мало объяснить им, как пишется тот или иной суффикс; надо привить им интерес к богатому и сложному механизму языка. К сожалению, литература о языке, адресованная детям, у нас очень немногочисленна; тем большее значение приобретают сведения из науки о языке в таком массовом издании.

Можно ли на 56 страницах изложить основы современного языкознания? Вероятно, нет, авторы и не пытались делать этого. Круг вопросов лингвистического раздела достаточно широк и захватывает наиболее важные проблемы лингвистики. Авторы стремились заинтересовать школьника и рассказать ему об увлекательных поисках, ведущихся лингвистами.

Раздел состоит из шести статей (авторы — научные сотрудники Института русского языка и Института языкознания АН СССР): «Язык и общество», «Языки мира», «Русский язык — великий язык великого народа», «Языки народов СССР», «Письменность», «Язык и литература». Привлечены многочисленные примеры, самые разнообразные, достаточно яркие и наглядные. Здесь и список слов с буквой ъ, которые должен был зазубрить дореволюци-

онный гимназист («Бѣдный бѣлый бѣглый бѣс пообѣдать бѣгал в лѣсъ...»); и справка об индоевропейских родственниках русского слова *Срат*; и рассказ о языке острова Маурикия; и информация о языках, в которых 52 (!) падежа... Некоторые грамматические сведения представлены в виде таблиц — так легче сравнить формы и понять их связь. В разделе две карты — «Карта языков мира» и «Распространение основных семей и групп языков народов СССР». Многочисленные фотографии в статье «Письменность». Надо отметить также, что удачны шуточные иллюстрации к тексту раздела (например: Лев Толстой, читающий название своего романа «Война и мир» на эсперанто). В «Справочном отделе» тома читатель найдет аннотированную библиографию («Что читать о языке и литературе» (литература о языке — стр. 506—508).

Все ли удачно в разделе «Язык»? Слово для ответа на этот вопрос имеют юные читатели... Безусловно, что теперь авторы уже сами видят недостатки, местами перегруженность фактами, иногда некоторую сложность (например, в статье «Языки мира»).

В заключение спешим утешить огорченных родителей — подписчиков первого издания «Детской энциклопедии»: в томе «Познание продолжается...», который издается в 1969 году, они найдут также раздел «Язык» (объем 3 печатных листа). Мы надеемся, что публикация раздела «Язык» в этом томе, как и в одиннадцатом томе второго издания «Детской энциклопедии», привлечет внимание юных читателей, даст толчок развитию их интереса к языку и тем самым поможет им в овладении культурой русского литературного языка.

Б. Ш.

Есть ли артикли в русском языке?

Вопрос этот не праздный, так как в большинстве индоевропейских языков артикли — неотъемлемая часть грамматической системы. Причем артиклевые противопоставления едины повсюду: неопределенный артикль относит предмет к классу однородных, определенный — выделяет его как особенный, данный, тот, о котором идет речь. Для простоты изложения мы будем пользоваться понятиями «определенности» и «неопределенности».

Понятия эти, очевидно, важны для языковой логики вообще, и вряд ли остается равнодушной к ним логика русского языка. И действительно, у нас существуют лексические способы указания на «неопределенность» или «определенность» существительного. Это, с одной стороны, неопределенные местоимения (какой-то, некий, некоторый), с другой стороны, — указательные местоимения (этот, тот, такой) и различные уточняющие слова (данный, упомянутый, указанный).

Однако каждое из неопределенных местоимений, помимо общего для них значения неопределенности, несет некоторую дополнительную лексическую нагрузку и не может поэтому служить чисто грамматическим, формальным средством для выражения отношения существительного к классу подобных. И все же такое средство существует — это числительное *один* (одна, одно), которое в определенном контексте утрачивает количественное значение и приобретает функцию неопределенного артикля. Когда мы говорим: «Встретил я на днях одного человека...», мы вряд ли имеем в виду, что за последние дни видели одну-единственную живую душу.

Мы просто относим существительное к классу однородных предметов и, следовательно, употребляем слово *один* в значении неопределенного артикля. Такое употребление вполне естественно в разговорной речи, зафиксировано оно и в художественной литературе — обычно в диалоге.

Вот несколько примеров из рассказов Ю. Казакова: «Слушай... я тебе расскажу кое-что, как я сидел на приколе в одном поселке на Кольском...» (Проклятый север) — количественного значения здесь явно нет: пельзя же «сидеть на приколе» в двух или трех поселках одновременно. В том же рассказе: «Я сразу вспоминаю один полярный поселок...»; «Встретился нам один тралящик, домой шел...». Или в диалоге из рассказа «Вон бежит собака»: «— Куда же Вы едете? — Есть одно местечко, — уклончиво ответил он...».

Легко заметить отличие такого употребления слова *один* от случаев, когда его лексическое значение полностью сохраняется. К ним относятся количественное значение: «Одна голова — хорошо, а две — лучше», противопоставительное: «Одно другому не мешает», или значение единственности, как, например, в пушкинской строке: «Только версты полосаты попадаютя одне».

Это маленькое словечко, само по себе уже достаточно многозначное, обнаруживает еще и тенденцию к употреблению в особом грамматическом значении — артиклевом.

Но если есть в языке особое слово со значением неопределенного артикля, естественно ожидать и слова, служащего для выражения понятия определенности. Ведь суть артиклей в их противопоставлении, и существование одного из них без другого не имеет смысла. И такая противопоставительная система действительно наблюдается в нашем языке. Роль определенного артикля играет указательное местоимение *этот* (эта, это): «Десять дней штормовали, а на одиннадцатый у нас матрос один с ума сошел... Я гляжу, а матрос этот... по палубе бегает» (Проклятый север). Так же,

как слово *один* употреблено здесь не в количественном значении, слово *этот* не имеет указательного значения. «Указывает» оно лишь на то, что предмет упоминается вторично, что он нам уже известен из предшествующего повествования.

Это очень характерный пример противопоставительного употребления слов *один* и *этот* в двух последовательных предложениях, причем в данном случае они взаимно обусловлены и изъять одно или другое невозможно. Интересно отметить также, что слова *один*, *этот* употреблены здесь постпозитивно. Это подчеркивает их служебную функцию: ведь в такой позиции оба они безударны (тоже один из формальных признаков артикли). Чтобы вернуть этим словам их лексические значения, необходимо сделать их ударными и, следовательно, поставить их перед определяемым существительным.

Постпозитивность, однако, вовсе не обязательна при употреблении слов *один*, *этот* в функции артикли. Вот два аналогичных примера из газетного текста: «Сейф можно было открыть с помощью четырех ключей... а ключи эти находились...» (постпозиция); «Ручкописи хранились в специальном сейфе... Ключи от этого сейфа...» (препозиция). В качестве служебных слов они остаются безударными как в постпозиции, так и в препозиции; в качестве полноценных лексических единиц — всегда ударны и препозитивны.

Итак, слова *один* и *это* выполняют функции неопределенного и определенного артиклей, однако употребление их в данной функции в основном лишь факультативно. Интересно поэтому отметить случаи обязательного употребления слова *один* в значении неопределенного артикля. Вот характерный газетный заголовок: «История одной любви». Изъятие слова *один* из этой фразы невозможно, поскольку тогда изменится смысл всего высказывания: «История любви» станет в один ряд с «Историей искусства», «Историей философии», и существительное будет обозначать не какой-то конкретный любовный роман, а абстрактное этическое понятие. Слово *один* необходимо и в предложениях такого типа: «Мне недавно говорил один

человек...». Без него предложение просто неграмматично, звучит «не по-русски». Разве не парадоксально, что в нашем безартиклевом языке фраза без артикля звучит не по-русски?!

Разумеется, слова *один*, *этот* еще не приобрели той универсальности употребления, которой обладают подлинные артикли в других языках. Объясняется это, очевидно, тем фактом, что в русском языке для выражения «определенности-неопределенности» существительного во многих случаях служит порядок слов, выбор которого в связанном повествовании вовсе не так свободен, как в абстрактной модели русского предложения. Так, подлежащее в позиции перед сказуемым обычно обозначает предмет уже известный (например: «Мальчик сидел за столом и писал») в отличие от предложений с инверсированным порядком слов («За столом сидел мальчик...»). При дополнении употребление слов *один*, *этот* факультативно: «Встретил я вчера (одного) знакомого...», если же дополнение имеет при себе описательное определение («Я увидел красивого молодого мужчину...»), эти слова просто излишни.

Употребление слов-артиклей ограничено не только грамматическими, но и стилистическими факторами: они характерны лишь для разговорной интонации. Однако их можно встретить и в художественной литературе и в газетных текстах там, где стиль повествования приближается к живой речи. Вот несколько примеров из раздела «Удивительные истории» в газете «Известия»: «У одного пассажира... пропала простыня...»; «Один человек шел себе по улице...»; «Жила-была одна средняя школа...» — и тут же следом: «И вот однажды звонит в эту школу директор магазина...».

Можно привести пример даже из рецензии на художественное произведение: «По-своему сложен и характер переживаний Якова — малый этот испытывает разочарование...» («Литературная газета», 1 февраля 1967).

Однако не будем торопиться и заявлять о сложившейся системе артиклей в русской речи. Пути языка подчас неисповедимы, и может статься, что эти слова не войдут как

артикли в грамматический строй русского языка, а закрепятся лишь где-нибудь в периферийных стилистических слоях (как это случилось с постпозитивной частью артиклем *то*). Кроме того, хотя в целом наблюдаемый нами процесс сходен с процессом образования артиклей в других языках (определенный артикль — из указательного местоимения, неопределенный — из числительного *один*), русский язык может «по-своему» распорядиться его дальнейшей судьбой. Уже сейчас можно отметить своеобразное, не присущее другим языкам употребление указательного местоимения *такой* в значении, близком к неопределенному артиклю. В приводимых ниже примерах это слово не выделяет предмет как определенный, а, наоборот, относит его к классу подобных: «И зазвучала вдруг французская шансонетка, *такой* вальсик...» (Проклятый север); «Это Ночкин... это *такой* бухгалтерчик...» (Маяковский. Баня); «Государь-император, а рядом с ним, помнится, еще граф Фредерикс стоял, *такой*, знаете, министр двора» (И. Ильф, Е. Петров. Золотой теленок).

Образование слов-артиклей не результат влияния других языков, а естественный процесс перехода определенных слов из категории значащих в категорию служебных, естественный потому, что эти значащие слова уже заключают в себе понятия «определенности» или «неопределенности». Фонетически этот процесс выражается в утрате ими логического ударения в предложении, грамматически — в возможности постпозитивного употребления (что также связано с безударностью этих слов), семантически — в ослаблении или утрате их исходных лексических значений. Все эти особенности и дают основание полагать, что в русском языке имеются уже специфические слова с артиклевым значением, образующие систему противопоставлений и служащие для выражения такой абстрактной грамматической категории, как отношение существительного к классу однородных предметов.

В. В. ГУРЕВИЧ,
аспирант МГПИ им. В. И. Ленина



«ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАНЩИК»

Происхождение этой поговорки, иронизирующей над «бывшим», отставным человеком, не вполне точно объясняется В. Далем в «Толковом словаре», а вслед за ним и М. Михельсоном («Русская мысль и речь»): «Слово это получило начало от обычая (так называемых козырятников), с дудкой и барабаном, наряжаясь козой, водить бесплатно медведя. Иногда козой наряжают мальчика и при нем состоит барабанщик». Сомнительно, чтобы ирония этой поговорки была направлена (даже первоначально) на лиц определенной узкой профессии.

Здесь, по-видимому, содержится намек на святочное ряжение и, более определенно, на известную святочную интермедию «Коза». «Рождование с козой, отбываемое в Белоруссии на новый год и о масленице, упоминается для Малороссии в числе рождественских обычаев: козу делают из дерева, а туловище покрывают шубой; ее поддерживает

«скрытый под шубой мужик. Козу водят с музыкой, под звуки которой она пляшет. Белорусская святочная коза — парень в кожане наизнанку, голова прикрыта незатейливой маской с приставленными коровьими рогами, с ней вместе ходят ряженые... она пляшет, переминаясь с ноги на ногу, под звуки скрипки и барабана и пения песни: „Ого-го, коза и т. д.“» (А. Н. Веселовский. Разыскания в области русского духовного стиха. СПб., 1883. Тексты интермедии, описание колядования и изображение маски козы можно найти в работах: А. Н. Малинка. Сборник материалов по малорусскому фольклору. Чернигов, 1902; «Киевская старина». Кн. 10, 1898; «Материалы до етнологіі й антропологіі Т. ХХІ—ХХІІІ, ч. 1. Львів, 1929).

Смысл колядования с козой, как и колядования вообще, — в символическом пожелании счастья и изобилия хозяину дома, где принимают козу. Недаром непременные атрибуты козы — рога и шерсть (вывороченный тулуп) — традиционные символы плодородия. Эти атрибуты могли ассоциироваться и с быком: ряжение диким туром (польские — *turzycy*, древнерусские — тоурицы).

Какой же смысл вкладывается в выражение *отставная коза*? Тот же самый, что в западноевропейской традиции связывается с осмеянием и свержением короля шутов в финале карнавала. С карнавалльно-святочной традицией связан, по-видимому, целый ряд русских пословиц. *Шут выворотный* (т. е. в вывороченной шубе), *В красной шапке узнаем друга*, и, возможно, некоторые другие.

Выражение *Отставной козы барабанщик* построено в соответствии с излюбленным риторическим приемом русских присловий: абсурдный тезис (по сути дела сравнение), содержащийся в первой части, усиливается, окончательно утверждается во второй — необходимой более из стилистических соображений. Ср. такие пословицы, как *После драки кулаками не машут* (усиление), *После ужина (основной тезис) горчица* (усиление) или выражение *Варской курице* (а не барину — основной тезис) *племянник* (усиление). Воз-

можность двойного членения усиливает юмористическую сторону высказывания, маскируяронию.

Синтаксическое членение по схеме: «отставной (kozy барабанщик)» не только потенциально возможно, но в настоящее время и единственно реально. Возникновение этой связи может быть истолковано только в исторической перспективе. Скорее всего здесь мы имеем дело с влиянием канцелярского стиля конца XVIII — начала XIX века, где нередки были выражения типа *Отставной гвардии поручик* («отголоски» его сохранились и в современном уставном языке, ср. гвардии лейтенант — воинское звание).

Зафиксированное у Даля значение подсказывает определенное синтаксическое членение этого выражения. Поэтому на первый взгляд можно было бы сделать вывод, что эпитет *отставной* относится к кому-то, названному довольно странно: «kozy барабанщик». Сопоставление с другими поговорками, имеющими сходное значение, как будто тоже подсказывает такое членение: ведь там будут и двоюродный плегень забору — *Нашему забору двоюродный плегень* и племянник курицы — *Барской курицы племянник* и другие нарочито нелепые наименования. Однако исходное членение рассматриваемой поговорки вряд ли соответствовало схеме «отставной (kozy барабанщик)». Иными словами, родительный падеж (если бы надо было его употребить) звучал бы не «отставного козы барабанщика», как это следует из приведенного рассуждения, а «отставной козы барабанщика», то есть соответствовало бы схеме «(отставной козы) барабанщик». Вопрос лишь в том, что же такое «отставная коза»? Но этот вопрос нами уже решен.

Таким образом, в связи с забвением обряда первоначальная семантика выражения *Отставной козы барабанщик* была утрачена. Сохранился слабый намек на первоначальный смысл — намек на резкое изменение социального статуса лица. В более позднюю эпоху это значение было вновь конкретизировано в духе новых бюрократических понятий

М. В. АРАПОВ

Собственные имена или нарицательные?

Собственные имена в отличие от нарицательных не только называют лицо, объект, но и выделяют его из общего ряда предметов. Однако граница собственных и нарицательных имен подвижна. Собственные образуются из нарицательных (Октябрь — Великая Октябрьская социалистическая революция, Запад — страны Западной Европы). Наричательные в свою очередь пополняются за счет собственных. Например: ампер, альфонс, галифе, альмавива, макинтош, вольт, геркулес, гильотина, браунинг, дон-жуан, канин, крез, лазарет, ловелас, лукулл, менаднат, кольт, маузер, рентген, сандвич, фофан, хам, доberman, винчестер и т. д. (см.: В. Б. Виноградов. Русский язык. М.—Л., 1947, стр. 48). { Разграничение имен нарицательных и собственных имеет большое значение, так как последние широко включились в современное словообразование. К тому же это разграничение имеет и чисто практическое значение.

В «Правилах русской орфографии» сказано, что названия предметов и явлений, образованных из имен или фамилий, пишутся со строчной буквы: ом, кулон, форд, френч, наполеон. Однако во многих случаях разграничить собственные и нарицательные имена очень трудно. Среди собственных имен, кроме антропонимии (вся совокупность личных имен) и топонимии (географические названия), есть особый разряд — наименования различных единичных объектов и учреждений. В этот разряд входят названия фирм и марок промышленных изделий, которые легко становятся наименованиями самих изделий. Этот процесс можно наблюдать в наши дни: а) собствен-

ное имя: «Таня не заметила, как к дому подъехала голубая „Победа“» («Юность», 1967, № 1); б) нарицательное: «С нами ехал на своем помятом *форде* пан Гронский» (Паустовский. Далекие годы); в) нечто среднее: «На той стороне, в колхозном сарае, нас ожидал старенький, выдавший виды „виллис“, оставленный там еще зимою» (Шолохов. Судьба человека), «Вскоре и „мерседес“, и „оппель“ скрылись за поворотом» («Юность», 1967, № 1).

Употребление собственных имен для различных видов товаров получает все более широкое распространение: «Иоланта», «Ярославна», «Верховина», «Максимка», «Аленушка», «Лель», «Кармен». Для перехода собственных имен в нарицательные существенную роль играет форма названий, широта его употребления, традиции и ассоциации. Так, иностранные слова (мерседес, оппель) быстрее становятся нарицательными, чем русские («Москвич», «Волга», «Победа», «Чайка»). Дело в том, что иностранные названия не поддерживаются в языке другими, подобными им, как это происходит с русскими словами: нарицательные — победа, чайка, название реки Волга; названия других изделий — часы «Победа», «Волга», пылесос «Чайка».

Переход собственных имен в нарицательные зависит и от широты употребления слова. Например: название гвардейского миномета, появившегося в самые трудные дни войны и сыгравшего значительную роль в ходе боевых операций, стало общепонятным и нарицательным — *катюша*. Наименование других видов оружия, менее известных и важных, остались в разряде собственных: «Аня сжимает в правой руке гранату. Новенькую осколочную гранату „Ф-1“ из последнего груза, черную ребристую „Феньку“» («Комсомольская правда», 23 марта 1967).

В статье «Топонимастика как лингвистический факт» (сб. «Топонимастика и транскрипция». М., 1964) А. А. Реформатский пишет, что особую трудность вызывает квалификация родов, видов и подвидов в зоологии и ботанике, а также назва-

ния типов и подтипов машин и механизмов. Названия марок машин — имена собственные. В зоологии и ботанике им соответствуют наименования сортов. Однако обе эти группы слов легко переходят в нарицательные, становясь названием самого изделия или растения. Например: мята волжская, адонис амурский. Однако сортовые названия остаются именами собственными: «Мадам Баттерфляй», «Царица Севера», «Мод Гладстон» (розы). Впрочем, такое трансграничение на собственные и нарицательные не всегда можно провести для народных названий. Вот некоторые примеры. «*Viola tricolor* L. — русские названия: анютины глазки, фиалка трехцветная, *Иван-да-Марья*» (см.: М. А. Носаль и И. М. Носаль. Лекарственные растения и способы их применения в народе. Киев, 1960); «Садовые анютины глазки — сильно кустистые растения 20—25 см высотой с продолговатыми тупозубчатыми листьями» («Растения, применяемые в быту». М., 1966); «За сто с лишним лет садоводы достигли больших успехов, и, любуясь *Анютинными глазками* в клумбах, трудно себе представить, что они произошли от скромного полевого цветка» (А. Ф. Гаммерман и др. Растения-целители. Лекарственные растения нашей Родины. М., 1963).

Такой же разницей в написании встречается и в других названиях. Например: *Копорский чай*, *иван-чай*, *кипрей* — «В дореволюционное время листья этого растения служили фальсификатором настоящего чая и приготавливались для этой цели в с. Копорье Петербургской губ., откуда и название „Копорский чай“» (С. Е. Землинский. Лекарственные растения СССР. М., 1958); «Кипрей, копорский чай, иван-чай» («Большая медицинская энциклопедия»); «Довольно много видов лекарственных растений можно собрать вдоль шоссе Москва — Минск... Здесь, кроме валерианы, отмечены сибуха лазоревая, много *Иван-чая*, *василистника*...» (П. А. Волкова и др. Дикорастущие лекарственные растения РСФСР. М., 1963); *Кузьмичева трава*, *марьин корень*, *иван-да-марья* — «В 1889 году в „Самарских губернских ведомостях“ появилась статья, в которой сообщалось, что Федор

Кузьмич Мухавников, живущий в селе Виловатово Бузулукского уезда Самарской губернии, травой излечивает ревматизм и дизентерию. Масса больных стекалась к Кузьмичу, принося ему все более широкую известность, и даже растение, которым он лечил, получило в честь него название „кузьмичева трава“» (А. Ф. Гаммерман и др. Растения-целители); «Слышишь, что-то похожее на запах пионов? В народе их зовут *Марьин корень*. Неужели еще доцветают где-нибудь?» (Федин. Необыкновенное лето); «Пион сибирский, *марьин корень* — *Raeonia apomala* L. Растение высотой до 1 м...» («Растения, применяемые в быту»).

Некоторые названия пишутся только с прописной буквы — *Ванька мокрый*, *Иван Болотов*, *Ванька болотный*. «Неужели растение с таким чисто русским названием „Ванька мокрый“ происходит из далеких тропических лесов?» (Н. Верзилин. Путешествие с домашними растениями. Л., 1965); «На подоконниках в жестянках от консервов цвел огненный бальзамин. Его в тамошних местах зовут „Ваня мокрый“. Должно быть, потому, что толстый ствол бальзамина просвечивает против солнца зеленым соком и в этом соке иногда даже видны пузырьки воздуха» (Паустовский. В кузове грузовой машины).

Эти названия относятся к ряду однородных растений, т. е. по значению — это имена нарицательные. По словообразованию они также отличаются от собственных. Чем же все-таки можно объяснить написание с прописной буквы? Вероятно, традицией и ассоциациями: ведь в прошлом эти названия соединялись с собственными именами различными легендами и преданиями.

Таким образом, весь рассмотренный материал свидетельствует о том, что границы собственных и нарицательных имен подвижны, особенно это относится к названиям марок, сортов, видов изделий и самим изделиям. Все же для современного употребления названия марок, сортов, видов изделий — имена собственные, названия изделий, растений — нарицательные.

М. К. ШАРАШОВА,
аспирантка МГПИ им. В. И. Ленина



ХАЗАРЫ

И русское правописание

Названия народов (лингвисты обычно называют их этнонимами) относятся к именам собственным, хотя в русской орфографии установилась традиция писать их со строчной буквы. Орфография этнонимических названий часто зависит от того, знакомы ли мы с этими народами непосредственно или через носителей других языков. Кроме того, важно учитывать давно или недавно возникло знакомство, являются ли они нашими современниками или же принадлежат истории. Часто бывает, что с течением времени меняется традиция написания таких слов.

Интересно название одного древнего тюркоязычного народа средневековой Восточной Европы. Даже в справочных изданиях оно пишется по-разному. «Орфографический словарь русского языка», изданный Институтом русского языка АН СССР (начиная с издания 1956 года; 6-е издание — 1965) в качестве единственно возможного написания рекомендует *хазарский*, *хазары*, а второе издание «Большой Советской Энциклопедии» — лишь *хаазарский*, *хаазары* (с уступкой в написании геологического термина *хазарский ярус*, в котором допускается также вариант *хаазарский ярус*). Такая двойственность встречается даже в изданиях для школы. Учебник истории употребляет вариант *хазары*, а в учебнике литературного чтения и в школьном орфографическом словаре находим *хаазары*. Подобный разноречивый единство орфографического режи-

ма в школе. Он, однако, не исчерпывается двумя вариантами: в исторических трудах иногда встречается также написание *козары*, *козарский*. Например, его можно найти в переиздании «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева (кн. 1. М., 1959). В 17-томном академическом «Словаре современного русского литературного языка, который, как правило, обстоятельно отражает историю орфографического облика слова, оно не отмечено совсем. Там находим лишь варианты *хозары*, *хозарский* (как основные) и *хаазары*, *хаазарский* (как устаревшие).

Вообще же написание *хаазары* встречается преимущественно в трудах историков и лингвистов, которые непосредственно занимались вопросами исторической этнографии Восточной Европы VI—X веков: в «Сочинениях» В. В. Бартольда (т. I—VI. М., 1963—1967), в книге М. И. Артамонова «История хазар» (Л., 1962), в книге Б. Н. Заходера «Каспийский свод сведений о Восточной Европе» (М., 1962) и др. Орфографический вариант *хозары* встречается в трудах неисториков или тех ученых, которые специально вопросами этнической истории Восточной Европы не занимались — см., например, в «Курсе русской истории» В. О. Ключевского (М., 1907 — отдельное издание; М., 1956 — «Сочинения». Т. 1).

Какой же из трех вариантов можно оправдать исторически?

Этимология этого этнонима может считаться установленной. Название *хаазары*, по мнению многих ученых,

происходит от тюркского глагола *каз-* 'бродить, шататься, кочевать' в форме причастия *казар*. Ударение, вероятно, падало на последний слог, отсюда закономерна его древнерусская передача *козари* с *о* в безударном слоге: в старых заимствованиях безударное *а* часто передавалось как *о*. Возможно, сказалось здесь и сближение со словом *коза* — **козарь* 'козий пастух'. Правда, такое предположение все же маловероятно.

Глубокозадняязычный тюркский согласный *к* в древнерусском языке преобразовался в обыкновенный взрывной задняязычный *к*, в других языках он был при передаче слова *казар* заменен щелевым задняязычным *х*, однако гласный начального слога остался без изменения: отсюда латинское *Chazar*, греческое *χάζαροι*. Сходным образом слово звучит в армянском, арабском, персидском и сирийском языках. Сводку различных отражений этнонима *казар* в разноязычных средневековых источниках можно найти в капитальном труде венгерского византиста Дьюлы Моравчика «*Vizanti-noturcica*» (Berlin, 1958). От того же тюркского корня *каз-*, но в более позднюю эпоху было образовано существительное *казак* (*козак*), которое значило первоначально 'бродяга'. Наименование предшественников казачества *бродники* представляет буквальный перевод какого-то образования от тюркского глагола *каз-* 'бродить'.

Кстати, М. Фасмер в «Этимологическом словаре русского языка» анализирует данный этноним под словом *козари*, а варианты *хозары*, *хазары* не приводит даже как ссылки. Написание *козари*, *козарский* постоянно употреблялось в русском языке, начиная с XI века, когда память о государстве этого во многом загадочного народа и его связях с древними русами была еще очень свежа. В картотеке «Словаря древнерусского языка XI—XIV вв.» Института русского языка АН СССР

представлены только написания *козари*, *козарский*. Материалы другой картотеки — Малого древнерусского словаря XI—XVII вв. — указывают на такое написание вплоть до XVI века, когда стал употребляться вариант *хазары* (особенно в прозвище *Хазарин*), который можно объяснить как отражение аканья на письме. Написание *хазары*, *хазарский* появилось в трудах историков, которые пользовались иноязычными источниками. *Хазары* — просто русская транслитерация греческого и латинского облика этого же тюркского слова.

Появившаяся вскоре компромиссная орфография *хозары* была вызвана стремлением примирить древнерусское *козари* с новым вариантом *хазары*: древнерусское написание дало *о* в первом слоге, а транслитерация этнонима из иностранных источников *х* (вместо *к*), отсюда — *хозары*. Поэтому возникает колебание *козари* — *хазары* — *хозары*. Например, в произведениях А. С. Пушкина встречаются два последних варианта:

младой *хазарский* хан Ратмир
«Руслан и Людмила»
отмстить неразумным *хозарам*
«Песнь о Вещем Олеге»

Из трех встречающихся сейчас написаний (*козари* — *хазары* — *хозары*) исторически оправданными следует считать два первых: *козари* — отражает звуковые особенности древнерусской передачи названия, *хазары* — восходит к европейской и восточной традиции. Орфография же *хозары* не имеет под собой никаких оснований, к тому же она отвергнута специалистами, поэтому, вряд ли желательно искусственное насаждение ее авторитетом орфографического словаря, в следующем издании которого, очевидно, надо сделать соответствующее исправление.

Кандидат филологических наук
И. Г. ДОБРОДОМОВ



Невдомёк

Это наречие известно в значении 'непонятно, не пришло в голову'; 'не догадаться, не сообразить', ср.: «А мне и невдомек, что ты его любила-то» (А. Островский. Бедность не порок); «Даша... рвалась сказать ему слово, а какое слово — невдомек» (Гладков. Цемент).

Невдомёк образовано так же, как наречия: невдогад, невпопад, невзначай, немоготу и т. д. У всех этих слов *не-* — отрицательная частица, а *в-* — бывший предлог, употребившийся с винительным падежом. Далос: *догад* от глагола *догадаться*, а *домек* — от *домекать*, ср.: «Не домекаю, как это сделать» (не соображу, не понимаю). В. Даль в Толковом словаре приводит и существительное *домёк*: «У него домёку не хватает» (соображения). Вспомним и другие родственные слова: *намеж*, *намежать*, *смежать*, *смежнуть* 'соображать, догадываться'. Корень здесь *-мек-* со значением 'соображение, догадка'.

Не-в-до-мёк буквально значит 'отсутствие того, что относится к пониманию, соображению'. Слово образовалось в устной народной речи и в словарях фиксируется с XVIII века. Сначала было: «Это мне не в домек», так же, как: «Это мне не в радость» (не для радости) и т. д., а затем *невдомёк* стало восприниматься как одно слово, превратившись в наречие.

Нет

Эта частица, обозначающая 'поимеемся налицо, отсутствует', в различных предложениях выступает в

роли сказуемого, например: «Когда гостей нет, мы рано ложимся» (Гончаров. Обрыв); «Нет такого коня, на котором от самого себя ускакать можно было бы» (Горький. Макар Чудра); «На нет и суда нет» (поговорка) и т. п.

Обычно полагают, что *нет* получилось из *не есть* или *не есть ту*, при этом допускают, что два *е* дало один долгий звук *е*, обозначающийся в прошлом буквой *ѣ* (ять), что вполне вероятно, а сочетание звуков *ст* упростилось в *т*, что совсем невероятно (об этом ниже).

В памятниках старославянской письменности действительно употребляется слово *нѣсть*, например: *нѣсть ли писано* (не написано ли); *нѣсть съкровишта* (нет сокровища) и т. д. Это *нѣсть* — результат соединения отрицательной частицы *не* и глагола в 3 лице *есть*, ср. там же отрицательные формы *нѣсмъ*, *нѣси* и т. д. (из *не + есмъ*, *не + еси*), например: «ЖЪНА идеже нѣси сѣѣль» ([ты] — жнуший, где не сеял).

Древнерусским литературным языком был старославянский, поэтому не удивительно, что русские книжники употребляли форму *нѣсть*, например: «Нынѣ у васъ нѣсть меду и скоры» — в летописи под 946 годом (Сейчас у вас нет меда и кожи). Но чаще в древнерусских памятниках, особенно когда передавали разговорную речь, писали *нѣтъ*, *нѣту*, *нѣтуть*, например: «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нѣтъ» — под 862 годом (Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет); «Отъ князя помочи нѣту» — под 997 годом; «Нѣтуть ли вола велика и сильна» — под 996 годом.

Отрицательное слово в славянских языках образуется по-разному. Например, в украинском говорят *нема́* — из *не има* (не имеет), в чешском не или *непí* — из двух частиц *не* и *пí*, а в старославянском *нѣсть* из *не* и глагола *есть* и т. д. В древнерусском языке частица *не* соединяется с местоимением *тѣ* или наречием *ту*.

Нѣтъ никак не могло получиться из *нѣсть*, так как из сочетания звуков *ст* никогда не выпадал звук *с*. Невозможно произношение *тена* вместо *стена*, *веть* вместо *весьт*, *плети* вместо *плести* и т. д. Более того, к звуку *с* нередко присоединяется *т*, если далее идет звук *р*, например, в народе говорят *страм* вместо *срам*. Как показывает сравнительное изучение языков, в слове *сестра*, *струя* (ср. литовские *seser̃s*, *strava*) звук *т* вставной. То же в слове *пестрый* (древнерусское *пѣстрѣ* того же корня, что и *пѣсати* 'писать' и *пестрити* 'рисовать') по типу *бодръ*, *добръ* должно было быть **пѣсръ*, а имеется только *пестръ* с вставным *т*.

Таким образом, утверждение, что русское *нет* образовалось из *нѣсть*, не соответствует действительности, поскольку звуковые данные выступают против этого мнения. На самом деле русское *нет* получилось из частицы *не* и местоимения *тѣ* 'тот'.

Опрятный

Это прилагательное в современном языке означает 'аккуратный, чистый, чистоплотный', ср.: «Нязья Андрей вошел в небогатый опрятный кабинет» (Л. Толстой. Война и мир); «В кухне был запах, какой бывает... у опрятных кухарок» (Чехов. Моя жизнь); «Опрятный человек» и т. п. От прилагательного *опрятный* образованы существительное *опрятность* и наречие *опрятно*, ср.: «Домик их блистал опрятностью и чистотой» (С. Аксаков. Воспоминания); «Старушка в белом чепце, опрятно и чопорно одетая, показала у порога» (Пушкин. Дубровский).

Раньше в русском языке был и глагол *опрятать* в значениях: 'приве-

сти в порядок', 'разодеться', ср.: «Вишь как она опряталась» (нарядилась, разоделась) — запись речи калужского крестьянина; «Опрятать битое животное» (освеживать, выпотрошить, обмыть) и т. д. *О* в глаголе *опрятать* — приставка, ср. диалектные, однокоренные слова: *напрятать* 'надеть верхнюю одежду'; *распрятаться* 'раздеваться'. Таким образом, оказывается, что *опрятать* того же корня, что и *прятать* 'убирать что-либо так, чтобы другие не могли найти', ср.: «Мне давно хотелось узнать, что он прячет в сундуке» (Горький. В людях), а также: 'класть что-либо в какое-нибудь место для сохранности': «прятать шубу на лето»; «прятать молоко в погреб» и т. п.

Все приведенные значения рассматриваемых слов, как установлено, развились из первичного значения основы *прят-* 'покрыть чем-либо, запереть, застегивать', ср.: «плащемъ опрята и» — из рукописи XI века (плащом покрыл [одел] его). Отсюда, *прятать* стало обозначать 'положить в место, где не видят', а *опрятать* 'покрыть чем-либо; привести в порядок' и т. д. Позже глагол *опрятать* вышел из употребления, в современной речи остались прилагательное *опрятный* 'приведенный в порядок, чистый, аккуратный', существительное *опрятность* и наречие *опрятно*. Все они сейчас уже утратили связь с глаголами *прятать*, *спрятать*, *упрятать* и т. д.

Приятный

Данное прилагательное употребляется в двух основных значениях:

1. 'Доставляющий удовольствие, радость': «Вечер прошел в приятных и оживленных разговорах» (Тургенев. Рудин); «Александра Михайловна, сгорбившись, сидела на табуретке, испытывая приятное ощущение отдыха» (Вересаев. Два конца).

2. 'Привлекательный, нравящийся' (приятный голос, приятная улыбка): «Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское» (Пушкин. Капитанская дочка).

ка); «Глаза у него были приятные, какие-то особенно ясные и вдумчивые» (Горький. Беседы о ремесле).

Образовано это слово от причастия *приятъ* 'принят', так же как и *внятный* от *внят*, *понятный* от *понят* и т. п. В древности образовании прилагательных от основ страдательных причастий было частым явлением. Так, от причастия *не исписанъ* образовано прилагательное *неисписаньнь*, от *данъ* — *даньный*, от *приятъ* — *приятнь* и т. д. Все они обозначали 'возможность или невозможность какого-либо признака в действии'. Например, в старославянском языке: «Никоторы(и) же прор(о)къ *приятень* *есть въ отечьствии своемъ*» (Ни один пророк не мог быть принят в своем отечестве).

Приять состоит из приставки *при-*, корня *а*, который чередуется в других формах с *-ем-*, *-им-* и суффикса причастия *-тъ*. Ср. старославянские формы: *приятъ* — *приимъ* — *приемъ*. Корень *а* /*им*/ *ем* обозначает 'взять, схватить', он

обнаруживается также в словах: *взъяти* — *възмати*, *сънати* — *сънмати* и т. д.

На первый взгляд кажется, что *приятный* и *приятель* — слова одного корня, но это не так. Если старославянское *приятнь* шло с *а* (юсом малым), обозначающим носовой звук *е*, то *приятель* — только с *ѣ* или *я* (приѣтель или приятель). Последнее — того же корня, что *приянь* (старославянское *прибанъ*, *прибанъ*) и ныне диалектный глагол *приятъ* 'приласкать', ср.: «Мамушка побье(ть) и прияе(ть)» — запись живой речи в старой Орловской губернии. Все эти слова имеют древний корень *прия-*, а *приятный*, как мы видели, содержит корень *а* из *им*.

Таким образом, *приятный* и *приятель* — слова разных корней и значений. Считают, что *приятный* в русский язык заимствовано из старославянского.

Доктор филологических наук
А. С. ЛЬВОВ

Вниманию читателей

Всесоюзный научно-исследовательский институт технической информации, классификации и кодирования (ВНИИКИ) Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР подготовил специальное издание «Научно-техническая терминология» в 10 томах (ориентировочный объем 300 печ. л.).

Издание «Научно-техническая терминология» включает все стандартизованные и рекомендованные термины по горному делу, нефтяным продуктам, металлам и процессам обработки металлов, машиностроению, энергетическому и электротехническому оборудованию, контрольно-измерительным приборам и аппаратам, термины по электронике и радиоэлектронике, кожевенным и текстильным материалам, лесоматериалам, строительству, общетехнические термины и буквенные обозначения величин.

Издание рассчитано на научных работников, профессорско-преподавательский состав и студентов высших и средних специальных учебных заведений, а также на широкие круги специалистов различных областей науки и техники, редакционно-издательских работников и лиц, занимающихся научно-технической информацией, упорядочением и стандартизацией терминологии.

Выпуск 10 томов издания «Научно-техническая терминология» планируется во II полугодии 1968 и I полугодии 1969 года, ориентировочная цена всего издания — 24 рубля.

Подписку на указанное издание можно оформить через Центральную контору по распространению стандартов по адресу: Москва, М-259, Б. Черемушкинская ул., д. 92, корп. 4.

Подписка принимается как на все издание, так и на отдельные тома по определенной отрасли промышленности.

РЕВОЛЮЦИЯ

Это одно из самых дорогих и величественных слов нашей эпохи. На его долю выпала богатая и волнующая история, которая и сама может нам немало рассказать о зарождении и формировании национально-освободительного движения в России.

Слово *революция* появилось в русском языке в первые десятилетия XVIII века. Источники его — латинское *revolutio* и французское *révolution*, которые обозначили 'обратное (возвратное) движение' и применялись главным образом по отношению к движению небесных тел; переносно они могли указывать на значительные перемены в жизни государств и народов. Оба эти значения — первоначальное и вторичное, переносное, — слово имеет и в современных европейских языках. Но в русском языке такого совмещения значений почти не было, и слово *революция* с самого начала употреблялось во втором, социальном смысле.

Говоря о сдвигах в истории античных государств, сподвижник Петра I П. Шафиров писал по поводу русско-шведской войны: «Дабы всяк яснее о последующих *революциях* [к этому слову давалось пояснение — «отменах», т. е. изменениях, переменах] древних известие имел». Б. Куракин, другой деятель Петровского времени, предполагал написать полную историю России. Сохранился план этой работы и там, в частности, раздел «О царе Годунове. О расстриге. О других революциях». Несколько позже это же слово употребляет Д. И. Фонвизин, рассказывая об изменениях в правлении и устройстве некоторых европейских государств.

При обозначении кругового, возвратного движения небесных светил русский научный и литературный язык пользовался издавна известными терминами *течение*, *бег*, в XVIII веке к ним прибавляются еще слова *обращение*, *движение*, сохранившиеся в качестве терминов астрономии до сих пор. М. В. Ломоносов о движении светил писал: «планет и комет обращение»; в других текстах этого времени встречаем: «обращение светил». Во французском же языке в таких случаях употреблялось слово *révolution*: *les révolutions des planettes* 'обращение, круговое движение планет'. В переводных словарях того времени выражения типа *révolutions des astres* также неизменно передавались как 'обращение, обратное течение звезд', т. е. без слова *революция*.

Такая смысловая цельность слова *революция* в русском языке с самого начала обусловила и дальнейшее вполне определенное его

развитие. Важный этап в истории слова наступает в конце XVIII века. Крестьянская война под руководством Пугачева (1773—1775), выступления Радищева и других передовых деятелей всколыхнули русское общество, вызвали подъем освободительных настроений. Французская буржуазная революция 1789 года, свержение и казнь короля, установление республики привели в ужас правительство Екатерины II, ожидавшее такого же развития событий в России. Были приняты жестокие меры к пресечению «заразы французской» — закрытие журналов, ссылка Радищева, заточение Новикова, преследование любых проявлений свободолюбия.

Тем не менее революция во Франции и недавние крестьянские выступления в России, вызвали пристальное внимание русских людей. Сообщения об этих событиях проникали в газеты, в письма, даже в правительственные документы.

Именно теперь слово *революция* (и его производные: революционный и др.) получают конкретное социальное наполнение. Это уже не изменение в жизни людей вообще, а резкая и коренная перемена существующего строя, свержение монархии, выступления народных масс. Слово *революция* как бы впитало в себя чаяния лучших, передовых деятелей России второй половины XVIII века.

В это время слово распространяется и по-настоящему утверждается в литературном языке. Обладая острым общественно-политическим смыслом, оно, естественно, ограничено в печати. В официальных высказываниях, в оценках реакционных дворян события во Франции, как и недавнее Пугачевское восстание, назывались обычно бунтом, мятежом, беспорядками. Но все же через газетные информации и различные издания слово *революция* прочно входит в обиход. Мы можем даже получить представление о фразеологии защитников революции — это такие характерные выражения, как: защищать революцию, славная революция и др.

Слово *революция* в новом, специальном смысле употребляет Н. М. Карамзин, рассказывая о европейских событиях 1790 года в своих «Письмах русского путешественника». Интересно употребление этого слова в переписке его знакомых, некоторые из которых были связаны с масонством и тоже, со своей точки зрения, комментировали происходящее. Так, А. М. Кутузов писал А. И. Плещеевой 4/15 марта 1791 года: «Видно, что путешествие его [Карамзина] произвело в нем великую перемену в рассуждении прежних друзей его. Может быть, и в нем произошла французская революция».

А вот слово *революция* под пером Екатерины II, которая в 1790 году под свежим впечатлением от радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву» высказалась на своем ломаном русском языке: «Давно мысль ево [Радищева] готовилась по взятому пути, а французская революция ево решила себя определить в России первым подвизателем» (вспомним, что в другом ее определении дело Радищева прямо соотносится с крестьянскими выступ-

лениями: «бунтовщик хуже Пугачева»). Слово проникает в текст правительственного указа 1793 года о высылке из России французов, если они не отрекутся от «революционных правил».

Если в конце XVIII века происходит утверждение слова *революция* в новом социальном наполнении, то дальнейший важный этап в его развитии связан с деятельностью и словоупотреблением декабристов. Это был новый подъем национально-освободительного движения и общественного самосознания в России после Отечественной войны 1812 года. Декабристы используют слова *революция*, *революционный*, имея в виду свержение самодержавия, и придают этим наименованиям, таким образом, вполне конкретный смысл в условиях России 20-х годов XIX века.

Понятно, что многие их мысли не могли попасть в свое время в печать и сохранились лишь в записках, в следственных делах. В представлении декабристов русская революция означала существенные социальные преобразования, была актом героической борьбы. Отсюда высокий пафос и гражданственность в употреблении этих слов. В показаниях перед царской следственной комиссией декабрист Г. С. Батеньков с большим чувством заявлял: «Покушение 14 декабря не мятеж, как, к стыду моему, именовал я его несколько раз, но первый в России опыт революции политической, опыт почтенный в бытописаниях и в глазах других просвещенных народов». Касаясь формирования своих убеждений, Батеньков в очерке «Развитие свободных идей» писал: «Все, с одной стороны, располагало не любить существующий порядок, с другой же, — думать, что революция близка и неизбежна». Об этом же говорил в своих показаниях П. И. Пестель: «Начали во мне рождаться, почти совокупно, как конституционные, так и революционные мысли».

Итак, у слова *революция* складывается специальное значение, характер которого легче понять при сравнении с другим, очень близким по смыслу словом *переворот*. Прямой смысл последнего — ‘действие по глаголу *переворачивать*’, — однако, с конца XVIII века путем калькирования значения слово приобретает такое же специфическое содержание, как и *революция*. В 90-е годы XVIII века слово *переворот* и производные от него также использовались при описании событий во Франции в значении ‘революция’, *переворотный* ‘революционный’. В газетных сообщениях того времени встречаем: «идеи переворота», «последователи переворота», «площадь переворота» (название площади в Париже); «переворотные войска» (революционные войска), «переворотная республика» и т. д. Говорили и *контр-революция* и *прото-переворот*. В этот период из-за особой остроты слова *революция* его синоним *переворот* был даже употребительнее и встречался чаще.

Однако затем слова начинают расходиться по смыслу. Слово *переворот* с его более широкой и вместе с тем образной семантикой (ср. глагол *переворачивать*, в народно-разговорном языке оз-

начавший 'менять, переименовывать') обладало меньшими условиями для специализации значения. Будучи тесно связано со своим прямым смыслом и однозначными словами, слово *переворот* не приобретает того терминологического общественно-политического характера, который закрепляется за словом *революция*. В течение XIX века оно постепенно оттесняется в неспециальные и переносные контексты. Применительно к общественным явлениям слово *переворот* начинает чаще означать частные перемены в структуре, правлении страны. Слово *революция* в передовой русской публицистической традиции служит наименованием главным образом коренных, радикальных перемен в укладе общества, связанных с освободительной борьбой.

В этом, собственно, заключается еще одно существенное отличие слова *революция* от соответствующих слов в европейских языках. Например, французское *révolution*, по определению французского академического словаря 1836 года, могло относиться к весьма различным переменам в жизни государств, в том числе имеющим характер переворота. В русской передовой публицистике такого смешения почти не допускается. Лингвистически это находит выражение в том, что слово *переворот* как отдельное наименование «оттягивает» на себя обозначение тех социальных явлений, которые носят более частный характер, или подчеркивают ту сторону революции, которая состоит именно в сломе, резкой перемене, «переворачивании» существовавшего положения вещей. Такое смысловое соотношение слов сохранялось в общих чертах и позднее, способствуя цельности и полноте социального наполнения слова *революция*.

Сравнительно рано (уже в конце XVIII века) складывается и другое употребление слова *революция* 'существенные перемены в какой-либо области', получившие в дальнейшем развитие. Например, в «Письмах русского путешественника» Карамзина в речи одного из персонажей встречаем фразу: «Со временем предложу публике свои мнения и доказательства, которые, может быть, сделают революцию в философии»; аналогичный пример в статье поэта К. Н. Батюшкова: «И эти люди хотят сделать революцию в словесности не образцовыми произведениями, нет, а системою новою, глупою». Такое же употребление обнаруживается у слова *переворот*, причем оно в этом смысле выступает чаще, чем слово *революция*, и в более разнообразном кругу лексики. Вот некоторые примеры, относящиеся к первым десятилетиям XIX века: «умственный переворот», «переворот дел человеческих», «перевороты человеческой судьбы», «переворот в земледельческой системе» и т. д. Встречаются подобные выражения у Пушкина, Белинского и др.

Итак, к середине XIX века, когда вполне складываются нормы русского национального литературного языка, слово *революция* получает свои основные семантические свойства. В дальнейшем, по-прежнему сохраняя свой острый политический смысл, слово

революция находится в гуще литературно-публицистической полемики, борьбы общественно-политических группировок. Одним из отзвуков этой борьбы еще в середине XIX века было замечание в известном «Карманном словаре иностранных слов...», издаваемом Н. Кириловым» (1845—1946), о различии между словами *революция*, *реформа* и *новация*: «Иногда новация (обновление) употребляют вместо реформа (изменение), но этим отнюдь нельзя заменить революцию (преобразование)». В этом замечании авторов словаря — петрашевцев — проявилась забота передовых деятелей России о чистоте и правильном понимании слова *революция*.

Новая эпоха в истории слова *революция* начинается в период пролетарского освободительного движения, деятельности большевистской партии и В. И. Ленина. Насыщенное опытом борьбы рабочего класса, на базе теории марксизма-ленинизма, слово становится в русском языке подлинно научным термином. После Октябрьской революции, в ходе социалистического строительства окончательно определяется значение слова *революция* и его производных. В семнадцатитомном «Словаре современного русского литературного языка» АН СССР указываются два основных значения слова *революция*: 1. «Коренной переворот в жизни общества, проявляющийся в насильственном низвержении отжившего общественного строя и утверждении нового, прогрессивного общественного строя». В рамках этого значения отмечены в качестве особых употреблений — слово применительно к пролетарской, социалистической революции и в отношении буржуазных, буржуазно-демократических революций. 2. «Переворот в какой-либо области, ведущий к коренному преобразованию, усовершенствованию, обновлению чего-либо» (из газет: «научно-техническая революция»).

Как видно из текста словарных определений, слово *революция* сохраняет определенную соотносительность со словом *переворот* и поныне. Больше всего эта соотносительность проявляется во втором значении. Однако и в первом, социальном, смысле, с учетом описанных выше особенностей, эти слова имеют некоторый параллелизм. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что слово *революция* во всех случаях имеет более точное, терминологическое значение, тогда как семантика слова *переворот* шире, менее специальна, контекстуально разнообразнее. В качестве иллюстраций, где оба слова встречаются как раз с разными оттенками в одном и том же отрывке, приведем место из статьи академика С. Трапезникова («Правда», 4 августа 1967): «...Однако революция была только началом, необходимой предпосылкой того, чтобы потом, несколько позже, совершить подлинный социалистический переворот в деревне и увенчать его полной победой колхозного строя». Другой пример употребления слова *переворот* в газетном тексте: «Военный переворот в Того».

Слово *революция* вошло в языки всех братских народов. Советская эпоха не только наполнила его глубоко определенным и

близким каждому смыслом, но и вызвала к жизни много специфических новообразований от слова *революция*. Это слово стало настолько значимым, что может употребляться и без определений и дополнений, — каждому ясно, какое событие имеется в виду: *незадолго до революции, послереволюционные годы, в период революции*. Ср. также появившиеся новые сложно-сокращенные наименования: *ревком, ревтрибунал, реввоенсовет* и др. Развитие слова *революция* в советскую эпоху составляет отдельную большую тему, не укладывающуюся в рамки одной заметки. Мы постарались лишь осветить начальный, наиболее ранний этап в истории этого замечательного слова, слова-ветерана.

Кандидат филологических наук
В. В. ВЕСЕЛИТСКИЙ

КЕМПИНГ-КЕМПИНГОВЫЙ

Развитие международного туризма внесло в русский язык существительное *кемпинг* 'лагерь автотуристов, лагерь отдыха'. Английское а *camp* — *to camp* этимологически связано с латинским *campus* 'лагерь'. В том или ином варианте это слово бытует почти во всех европейских языках. Ср. французское *camp* 'поле', итальянское и испанское *campo* 'поле', 'лагерь' и т. д. В английском а *camp* и *to camp* означают 'лагерь, временное пристанище путешественников' и 'располагаться лагерем, временно жить', а *camp out, camping-out, persons camping out* — 'почевать под открытым небом, временно жить без особых удобств'; 'ночующие под открытым небом'.

Кемп — *кемпинг* в значении 'лагерь для автотуристов' распространилось во многих языках мира. Писатель Геннадий Фип одну из глав своей книги «Здравствуй, Дания!» (1959) назвал «Километры, мили, кемпы». В русском языке распространилась форма *кемпинг*. Сначала слово это употреблялось как иностранное вкрапление в английском написании (*camping*), но с непрямым русским пояснением: «Останкино, кемпинг». Появился указатель с надписью на английском языке и

объяснением на русском: лагерь для автотуристов. «Ворота Останкинского кемпинга гостеприимно распахнуты для путешественников со всех континентов» («Вечерняя Москва», 24 июня 1960). Газетные и журнальные публикации закрепили в русском языке за словом *кемпинг* русскую транскрипцию и сделали ненужными описательные пояснения: «Кемпинг у Минского шоссе» («Вечерняя Москва», 19 августа 1965); «Своеобразна архитектура деревянных павильонов кемпинга» («Правда», 24 июля 1966); «В 50 городах СССР строятся сейчас новые... кемпинги». Ср. также: указатель орджоникидзевского лагеря для автотуристов — «Camping. Кемпинг» (1965). Здесь слово уже без пояснений представлено в двух написаниях — английском и русском.

Твердый согласный в окончании существительного *кемпинг* позволил иностранному заимствованию стать в ряд русских слов мужского рода — II склонения. *Кемпинг* легко склоняется: «В Исполкоме Моссовета согласовано проектное задание на строительство кемпинга на 200 мест... предусмотрено сооружение при кемпинге жилых домиков...» («Вечерняя Москва», 19 августа 1965). Это существительное усвоило не

только русское словоизменение, но и русское образование относительных прилагательных — *кемпинговый*: «В Европе тесно, и все популярнее там становятся кемпинговые домики на воде...» («Туррист», 1966, № 11).

Значение прилагательного *кемпинговый* говорит о семантическом движении и более широком осмыслении существительного *кемпинг*: ведь первоначально оно означало 'лагерь, временное пристанище путешественников'. Затем на современном этапе развития, в «туристском языке», сло-

во получает более узкое значение 'лагерь автотуристов', но исходное значение тоже не забывается. *Кемпинг* — это 'лагерь для автотуристов' и одновременно 'лагерь, временное передвижное жилище' — яхта, лодка, автомобиль и т. п.

Итак, существительное *кемпинг* называется в русском языке новым, только что возникшие реалии. Это и позволило заимствованному слову войти в активный словарь.

А. А. БРАГИНА,
преподаватель МГПИИЯ
им. Мориса Тореза

Скоморох, комедиант, лицедей, актер, артист

Искусство актеров было популярно на Руси с древнейших времен. Первыми русскими актерами были скоморохи. Упоминание о них мы находим в летописи уже под 1068 годом: «но сими дьяволь лстить и и другими нравы всячьскими... трубами и скоморохы». Откуда это слово? В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера слово *скоморох* возводится к греческому *σκωμάρως* от *σκώμω* 'шутка'. «Скоморохи были лицедеями, объединявшими в себе специальности актера, певца, музыканта, плясуна, акробата...» («История культуры Древней Руси». Т. II. М.—Л., 1954).

Важным этапом в развитии русского театра был XVII век. Именно тогда в России возникает профессиональный театр, выступают французские, немецкие, итальянские труппы. К этому времени относится появление в русском языке слова *комедиант*. Тогда еще не было разделения на театральные жанры: трагедию, драму, комедию. При царе Алексее Михайловиче всякий спектакль называли комедией, а исполнителей — комедiantами. *Комедиант* — слово итальянское (*commedi-*

ante). В «Вейсманновом лексиконе» 1731 года слово *комедиант* уже есть и объясняется так: «штукотворец, заетыйник». В комедианты набирали крестьянских и мещанских детей. В «Докладах Московского театра» за 1673 год об этом сказано следующее: «Околничий Артемон Матвеев приказал... мещанских детей 26 человек, которые выбраны в комедианты... отвести в Новонемецкую слободу».

До сих пор мы говорили о скоморохах, комедиантах. Само слово *актер* появляется позже. В словарях до 1763 года мы его не найдем: впервые оно фиксируется только в «Словаре на шести языках» Г. Полетики (СПб., 1763). Но в литературе это слово встречается значительно раньше, в 1711 году: «Токмо мы одни на том театре актерами останемся» (Архив князя Куракина). Слово *актер* — французское *acteur*, восходит к латинскому *actor* — буквально 'тот, кто действует, действующее лицо', затем 'исполнитель, актер'; *actus* 'действие, дело'. Таким образом, в ряду *скоморох* — *комедиант* появляется еще одно слово — *актер*.

В этом ряду было и слово *лице-*

дей. Это исконно русское сложное слово первоначально имело значение 'лицемер'. В значении 'актер' оно, несомненно, было древнее самого слова *актер*, но скоро уступило ему в употребительности. Показательно, что слово *актер* в Общем церковно-славяно-русском словаре П. Соколова (1834) объясняется словом 'лицедей', а в словарях второй половины XIX века уже *лицедей* объясняется словом 'актер' (например, в Словаре В. И. Даля: *Лицедей* — актер). Значит, уже слово *актер* становится более употребительным, привычным, а *лицедей* постепенно выходит из обращения. До сих пор мы ничего не сказали о слове *артист*. В русский язык оно вошло в XVIII веке. Французское по происхождению, оно имело значение 'художник, человек, упражняющийся в каком-либо искусстве' (Н. Яновский. Новый словотолкователь. СПб., 1803); 'упражняющийся в изящных искусствах, художник' ('Словарь церковно-славянского и русского языка'. СПб., 1847). В этих толкованиях еще нет значения 'актер': слово *артист* имело в XVIII—XIX веках более широкое значение. В таком значении мы встречаем его у Гончарова: «Я, бабушка, хочу быть артистом.— Как артистом? — Художником. После университета в академию пойду» (Обрыв). Наряду с ним в начале XIX века у слова *артист* появляется

новое значение, ставшее теперь основным: 'исполнитель ролей в театральном представлении': «Сии всегдашние передовые зрители..., внимательные, может быть, в одних только балетах, не должны ль необходимо охлаждать игру самых ревностных наших артистов и наводить лень и томность на их души». Это написано Пушкиным в 1820 году в статье «Мои замечания об русском театре». Значение же 'человек, занимающийся творчеством в области какого-н. рода искусств, художник' отходит на второй план; в Словаре под редакцией Д. Н. Ушакова оно дается с пометой «устаревшее».

Итак, в значении 'актер' в русском языке в разное время употреблялись слова: скоморох, комедиант, лицедей, актер, артист. Следует заметить, что они могли употребляться и в переносном значении 'притворщик, лицемер', для слова же *лицедей* это значение первоначально было основным.

О различиях в употреблении *артист* и *актер* в современном языке и о переносных значениях этих слов «Русская речь» уже писала в предыдущем номере, в ответах на письма читателей.

В. С. ФИЛИПОВ,
научный сотрудник Института
русского языка АН СССР

Предыдущий

Изменения значений слов (или, как принято говорить в науке, семантические изменения) весьма разнообразны и индивидуальны. И тем не менее лингвистам удалось наметить некоторые основные тенденции, закономерности этих изменений.

В истории слова *предыдущий* проявились одновременно две такие тенденции. Одна из них широко распространена — это свойственное многим словам изменение конкретного значения в абстрактное. Вторая тенденция — это развитие противоположных (антонимических) значений, явление довольно редкое. Каждый такой случай представляет большой интерес.

Слово *предыдущий* первоначально означало 'идущий, двигающийся вперед', в современном языке — 'бывший, находившийся непосредственно перед настоящим, предшествующий'. Как же произошло это изменение?

Предъидущии — форма действительного причастия настоящего времени глагола *предъити*, заимствованного древнерусским языком из старославянского. Значение глагола *предъити*, употреблявшегося почти исключительно в церковно-книжных памятниках древнерусского литературного языка, первоначально сложилось из его частей: *ити* 'идти', *предъ-* 'вперед, перед'. Например: «Предъидущем черноризцем свѣщъ держаще в рукахъ и по них дьякони» (Впереди шли черноризцы [монахи], держа в руках свечи, а за ними дьяконы) — Лаврентьевская летопись, 1377 год.

Как видим, исконным значением глагола *предъити* было конкретное действие — движение в пространстве. Такие действия первоначально обозначали и многие другие глаголы с приставкой *предъ-*, например, *предъстояти* 'стоять перед чем-либо', *предъложить* и *предъположити* 'положить перед чем-либо', *предъставити* 'поставить перед чем-либо' и т. п. Однако для памятников религиозно-философского содержания, в которых употреблялись эти глаголы, описания конкретных действий были не типичны. В них преобладали рассуждения абстрактно-моралистического характера. Поэтому и слова конкретного значения приобретали переносные, абстрактные значения. Так, глагол *предъстояти* развил значение 'ожидаться в будущем', *предъположити* 'сделать предположение, допустить возможность чего-либо', *предъставити* 'доставить, предъязвить, сообщить; воспроизвести в мысли' и т. д.

В истории языка известны и многие другие случаи, когда глаголы движения, особенно приставочные, меняли первоначальное конкретно-материальное значение на абстрактно-духовное. Например, глагол *подражать*, родственное слову *драга* 'дорога', первоначально означал 'идти той же дорогой', *походить* 'ходить за кем-либо'. (Подробнее историю этих слов см. в статье: И. С. Улуханов. Подражать.— Сб. «Этимологические исследования по русскому языку». М., 1962).

Глагол *предъити* тоже изменил первоначальное конкретное значение. На основе прежнего 'идти вперед в пространстве' возникло 'идти, следовать вперед во времени'. В значении 'будущий, грядущий' употреблялась преимущественно причастная форма *предъидущии*, например: «И на прѣдъидущю времени правителя отпадъ помысла страстию ятъ будет» (Тот, кто в будущем уйдет от господина, будет охвачен духовным страданием) — Рязанская кормчая 1284 года. В таком значении форма *предъидущии* постоянно употреблялась в церковно-книжных памятниках вплоть до XVIII века. Однако в этот период шел процесс распада церковнославянского языка, на котором писались церковно-книжные памятники. Слова, наиболее в них употребительные, выходили за пределы церковнославянского языка, проникали в светскую письменность. Этот процесс коснулся и причастия *предъидущии*, гораздо более употребительного, чем другие формы глагола *предъити*, которые так и не вышли за пределы церковно-книжной письменности. Но в новой языковой сфере *предъидущий* было осмыслено не как 'следующий вперед настоящего момента, в будущем', а как 'следовавший перед, до настоящего момента, т. е. в прошлом'. Значение 'вперед', таким образом, в церковных жанрах осмыслялось как 'после, потом, в будущем', а в светских жанрах — 'до, раньше, в прошлом'.

Появление противоположного значения при переходе из одной сферы употребления в другую можно отметить, например, и у слова *блаженный*, ко-

торое в церковно-книжных памятниках означало 'праведный, счастливый', но, употребляясь в качестве постоянного эпитета к имени юродивого, в разговорной речи получило значение 'глупый, блажонный, капризный, уродливый'. (Подробнее об этом и других сходных явлениях см. в статье: О. И. Смирнова. Один случай эпитетности.— Сб. «Лексикология и словообразование древнерусского языка». М., 1966).

Важную роль в развитии у слова *предъидущии* значения 'следовавший до настоящего момента, в прошлом' сыграло противопоставление его словам *послѣдующий*, *послѣдствующий*, которые с древнейшей поры употреблялись в значении 'следующий после чего-либо'. Показательно, что в древнейших письменных фиксациях *предъидущии* в значении 'следовавший до настоящего момента' сопоставляется со словами *послѣдующии*, *послѣдствующии*: «Онъ не находитъ согласия между предъидущимъ и послѣдующимъ въ предложении господина депутата Глазова» (Большого собрания дневные записки 1768—1769 годов. Исторические сведения о Екатерининской комиссии для сочинения проекта Нового Уложения); «Егда предидущее отрицается и послѣдствующее» (Наука красноречия си есть Риторика. Рукопись XVIII века).

Таким образом, в светских жанрах письменности XVIII века церковно-книжное слово *предъидущии* получило новое значение, в котором оно употребляется и в современном русском языке.

Кандидат филологических наук
И. С. УЛУХАНОВ

Футбол и футболисть

Русский язык не знает глаголов, образованных от названий спортивных игр (бадминтон, баскетбол, волейбол, городки, лапта, регби, теннис, хоккей и др.). Говорят и пишут: играть в бадминтон, баскетбол, волейбол и т. д. Это относится и к названию самой популярной у нас игры — футболу. Правда, многие, вероятно, слышали новое выразительное словечко *футболисть(ся)*, но оно не имеет спортивного смысла.

Строго говоря, это слово нельзя назвать новым. Оно употреблялось уже в 20-е годы, в произведениях советских писателей старшего поколения, и обозначало футбольную игру или ее дворово-уличную имитацию (игру на футбольный манер ка-

ким-либо предметом). См. у В. В. Маяковского:

Устали ноги?
Ногам польза!
Из комнаты-берлоги
Иди

и футболься!

«Что такое парк» (1928)

У Л. М. Леонова: «зафутболенный котенок» — из рассказа «Мечь» (1928), в котором подробно описывается, как «ребята усердно играли котенком в футбол» (котенок погиб); «ботинки с расфутболенными носками» («Русский лес», 1953).

«Футбольное» значение глагола *футболисть(ся)* не закрепилось в литературном употреблении, не вышло

за рамки индивидуального (хотя и удачного) словотворчества, т. е. было и осталось значением окказиональным. Однако в отличие от обычных окказионализмов слово *футболить* (ся) в последние годы получило неожиданное развитие.

В основе его современных значений лежит не футбол как вид спорта, а один из динамичных элементов игры — удар носком ноги по мячу. Этот «футбольный» удар в житейской обстановке, как известно, нередко направляется на самые различные предметы: «Тип постоял, постоял, потом по-футбольному саданул консервную банку и зашагал прочь» (Волков и Лазарев. Повесть о ненайденных островах). Здесь, собственно, и начинается история слова. «Легко мечтать... Вдвоем листву футболить» (Бакалдин. Царевна-недотрога); «На пустыре у Корвохи босые ребятишки самоотверженно футболить дырявый чайник» (Леонов. Eugenia Ivanovna); «Петька начал с грохотом футболить сапогом бутылки, и они полетели под кровать» («Комсомольская правда», 29 октября 1965). Присоединение к глаголу *футболить* различных приставок, включение дополнительного суффикса (которые внесли соответствующие поправки по значению и виду) говорит о его активизации в языке: «Родню уже думал о том, как задает огонь, как пройдет после через пепелище, расфутболивая головешки» (Чивилихин. Елки-моталки); «Сорвав с рук меховые рукавицы, он хлопнул ими о палубу, затем одну за другой зафутболил в море» (Капица. Ревущие сороковые).

Как видим, в противовес многословным сочетаниям, создаваемым в нейтрально-литературной речи для выражения определенного действия (бить, ударять что-либо носком ноги; «футбольным» ударом что-либо отбрасывать, закидывать), разговорный язык ввел в оборот более краткую единицу — экспрессивный глагол *футболить*. Известно, что футбольная игра вызывает страсти как на поле, так и на трибунах, но само слово *футбол* эмоционально не окрашено. Таким образом, экспрессивность глагола *футболить* предопределена не исходным словом *футбол*, не его лексическим (терминологиче-

ским) значением: она возникла вместе с появлением глагольного новообразования.

Как это часто случается с экспрессивными словами, глагол *отфутболить* быстро приобрел переносное употребление: «Пока толковали о том, о сем, выясняя, что тов. Корнух подготовил не один, а три документа. В одном — отказать, в другом — отфутболить (словечко-то какое!) в соседнее управление и только в третьем нужное нам решение» («Правда», 8 декабря 1965); «Если бы Пузыревый не футболить столько времени, то, наверно, помогли бы. Он при первом же осмотре ко мне попросился. Но ему... отказали» (Герман. Я отвечаю за все); «Короче, В. Г. Сухарев, что называется, „отфутболил“ критику, высказанную в адрес филиала» («Советская Россия», 15 мая 1966) и т. д. В устной речи мы слышали и страдательное употребление глагола (кто- или что-либо *отфутболивается*).

Сфера применения и первого, прямого значения глагола *отфутболить* и его второго, переносного значения — эмоционально-разговорная речь, допускающая использование жаргонизмов. Именно отсюда слово и проникает на страницы газет и в язык художественных произведений. В первом своем значении глагол не имеет литературной пары (синонима): «Так-то ты приветствуешь председателя колхоза? Вот я тебя сейчас подфутболю сапогом, старый бес! — смеясь сказал Давыдов и, изловчившись, схватил козла за рубчатый витой рог» (Шолохов. Поднятая целина). В переносном же употреблении, которое на глазах становится устойчивым, слово вступает в богатый синонимами ряд (отсылать, отправлять, посылать и др.): «Только настроиться — посетитель. К Лебедеву отсылать бесполезно — все равно отфутболит обратно» (Грекова. Дамский мастер). Эти обстоятельства делают положение глагола *футболить* и особенно производных от него приставочных образований (которые меньше связаны со значением исходного слова *футбол*) в разговорно-литературной лексике все более прочным.

Интересно заметить, что футбол как вид спорта породил лишь окка-

эпональные значения глагола *футболить(ся)*, а отдельные приемы игры — его устойчивые значения, причем те и другие существуют во времени параллельно. Как видим, языку не понадобилось слово для обозначения игры в футбол, но потребовалось выразить ее игровой элемент; именно это новообразование приобрело устойчивое переносное употребление.

История глагола *футболить(ся)* — пример того, как, какими путями, в результате каких сложных связей действительности с сознанием рождается в языке слово, насколько ак-

тивно современный литературный язык осваивает разговорно-бытовую лексику в ее различных проявлениях.

Футболить(ся) — слово новое, получившее популярность в последние годы. Вследствие своей жаргонной окрашенности оно ограничено в употреблении, но им пользуются, под пером писателя оно служит для характеристики персонажа — и потому его нельзя не знать.

Е. А. ЛЕВАШОВ,
научный сотрудник словарного сектора
Института русского языка АН СССР

«РУССКАЯ РЕЧЬ» ОТЧИТЫВАЕТСЯ В НОВГОРОДЕ

(Начало см. на стр. 25)

В феврале 1968 года лингвистический кружок Новгородского государственного педагогического института посвятил свое очередное заседание обсуждению журнала «Русская речь». Непосредственная цель обсуждения — познакомить студентов, будущих учителей русского языка, с новым и интересным журналом «Русская речь».

Участникам обсуждения близко и понятно обращение Редакционной коллегии «К читателю»: «Не любить родную речь нельзя, знать и чувствовать ее необходимо. В ней душа народа, мысли народа, прошлое, настоящее и будущее народа». Единодушно было признано, что журнал «Русская речь» для студентов-филологов — важное подспорье в изучении родного языка.

В своих сообщениях студенты подчеркивали многообразие журнала, его доступность для самого широкого читателя. Особого внимания, по мнению выступавших, заслуживают материалы, помещенные под рубриками «Выдающиеся советские лингвисты», «Культура речи», «Поэтическая речь», «Из истории слов и выражений», «Орфография и пунктуация», хотя не со всеми положениями некоторых статей можно согласиться. Студенты отмечали полезность рекомендаций, предлагаемых журналом в «Почте „Русской речи“», «Кратком словаре произношения и ударения», в разделе «Ударение».

Студенты выразили ряд пожеланий в адрес журнала: чаще печатать материалы практического характера, раскрывающие литературные нормы устной и письменной речи. Не удовлетворяет читателя небольшой объем журнала.

В ЛЕНИНГРАДЕ

15 марта в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина проходила конференция читателей журнала.

О задачах журнала рассказал собравшимся член Редакционной коллегии заведующий словарным сектором Института русского языка доктор филологических наук Ю. С. Сорокин. Ответственный секретарь редакции В. Я. Дерягин познакомил читателей с планами журнала.

Конференция показала, насколько широк круг людей, интересующихся русским языком, живо сочувствующих идеям и направлению журнала. Выступили: доктор филологических наук Альтман, студентка филологического факультета ЛГУ Петушкова, редактор-медик Сквирская, студент-математик Зеллигер, инженер-океанолог Комис, преподаватель кафедры русского языка ЛГПИ им. А. И. Герцена Сулименко, инженер Жаров, врач Ушаков.

Все выступавшие отметили успехи журнала в пропаганде лингвистических знаний. Для техников, врачей и других людей, занятых и далеких от филологии по роду своей основной деятельности, но любящих язык и интересующихся им, «Русская речь» — добрый помощник и советчик.

Лингвистическая география

Кандидат филологических наук
В. Я. ДЕРЯГИН

Язык — социальное явление, исторически и географически обусловленное. Этой формулой руководствуются исследователи различных сторон жизни языка, но главным образом историки языка и диалектологи. Действительно, любой внимательный наблюдатель может отметить особенности в речи представителей отдельных возрастных слоев и профессиональных групп общества, еще заметны в наши дни и существенные различия в речи городского населения и коренных деревенских жителей.

Обращаясь к недавним периодам истории живого разговорного языка, ко времени, предшествующему появлению современных средств связи, путей сообщения и распространению всеобщего обучения, языковеды отмечают значительное влияние, которое оказывало пространство на языковое развитие.

Единство языка поддерживается взаимным общением говорящих на нем людей, и единое направление языковое развитие получает лишь в монолитном коллективе общения. Если общение осуществляется только в устной форме или письменность не имеет всеобщего распространения, как это и было в прошлом, то, естественно, уже просто расселение носителей языка, их разобщение, ведет к образованию диалектных различий — местных особенностей в речи населения, сохраняющихся теперь главным образом у сельских жителей (см. статью Л. Л. Касаткина «О русских диалектах». — «Русская речь», 1967, № 5). Закономерности территориального распространения языковых явлений изучает специальный раздел диалектологии — лингвистическая география.

Как всякая география (физическая, экономическая и т. д.), она имеет дело с картами. Лингвистическая карта — вы их видите здесь несколько — представляет собой обыкновенную географическую карту, на которой обозначено употребление отдельных слов, грамматических форм или особенностей произношения в специально обследованных лингвистами населенных пунктах. На карте может быть изображена и сама граница распространения языковой черты — изоглосса (от греческого *isos* 'ровный' и *glōssa* 'речь, язык', ср. метеорологические и географические термины: изобара, изотерма и др.).

Из карт, посвященных отдельным языковым явлениям, состоят атласы — национальные или региональные (областные). Атлас в более или менее полном виде представляет языковой ландшафт территории — совокупность проходящих здесь изоглосс. В 1957 году вышел подготовленный сектором диалектологии Института русского языка АН СССР первый том русского национального лингвистического атласа — «Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы». В нем на 241 карте представлены фонетические, морфологические, синтаксические и лексические особенности диалектов. В настоящее время готовятся еще четыре тома атласа по другим частям территории Европейской России (границы всего Атласа указаны на рис. 1).

Работа над лингвистическим атласом начинается с составления программы-вопросника, исследователи намечают также сетку населенных пунктов, подлежащих обследованию. Материал для атласа может быть собран при помощи рассылки вопросников на места, обычно школьным учителям, — так был составлен первый национальный атлас, немецкий; или во время специальных экспедиций записи делают специалисты-диалектологи — так были составлены французский, русский, украинский, белорусский и другие национальные атласы (см.: «Программа собирания сведений для составления Диалектологического атласа русского языка». М. — Л., 1947).

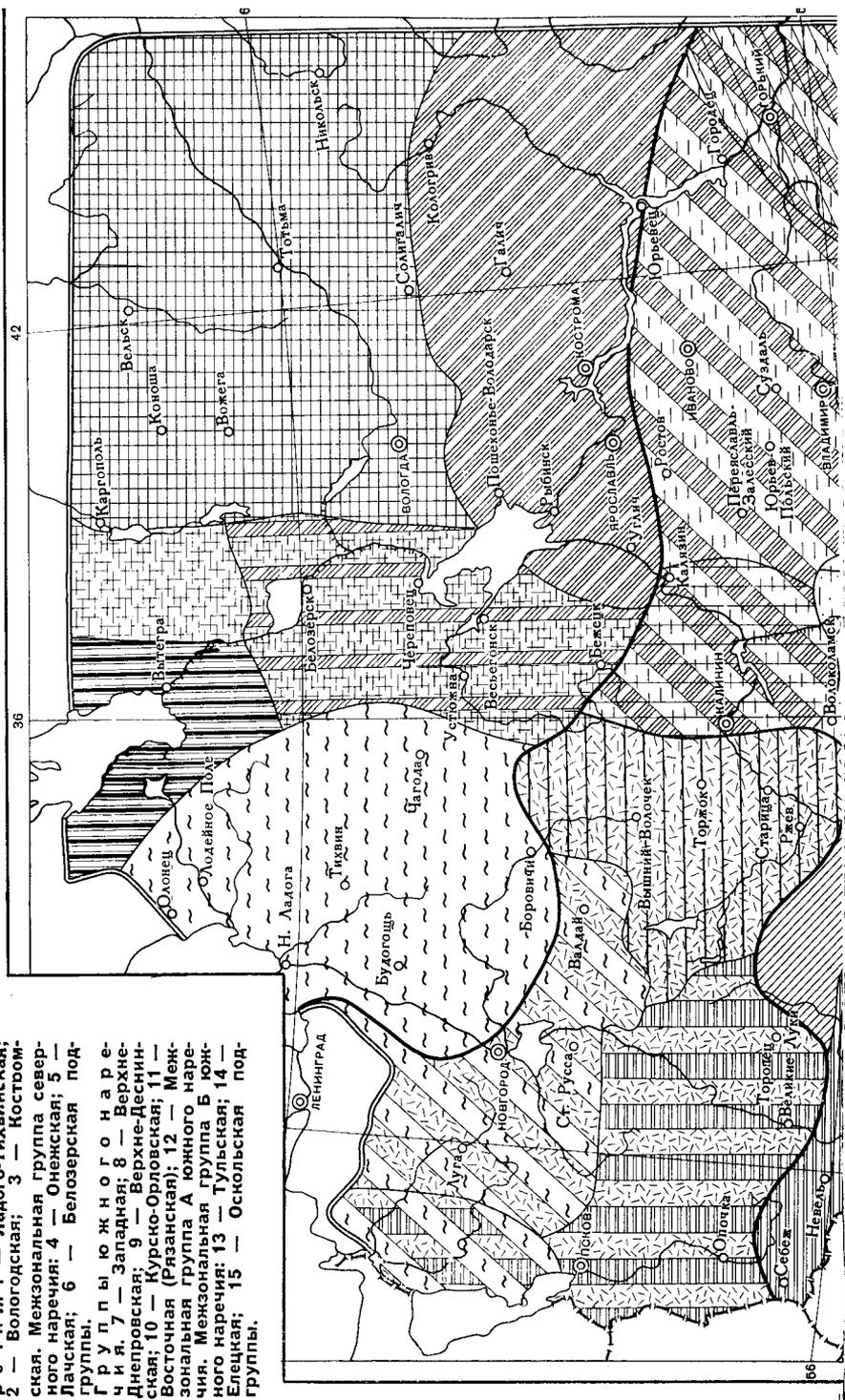
●

Лингвистические атласы дают возможность классифицировать современные диалекты, выделяя в пределах территории распространения национального языка группы близких по строю говоров. Так, одним из результатов работы над диалектологическим атласом русского языка было создание карты наречий (рис. 1). Основанием для проведения границ на такой карте служат пучки изоглосс. Пучком называют ряд проходящих близко друг от друга, примерно совпадающих по очертаниям изоглосс различных языковых черт.

Заметим, что полных совпадений в территориальном распространении отдельных явлений почти не бывает, и границы на общей диалектологической карте языка весьма условны. Мало того, в значительной степени условны и границы между диалектами близкородственных языков; например, между русским, украинским, белорусским языками четко их провести иногда бывает довольно трудно. Существует множество так называемых переходных говоров.

Крайнее мнение на этот счет высказал крупный французский диалектолог прошлого столетия Гастон Парис, утверждавший, что нет двух мест во Франции, где бы говорили на одинаковом языке. Каждый департамент, город, коммуна имеют свои особенности. Тем

Группы северного на-
 речия, 1 — Ладого-Тихвинская;
 2 — Вологодская; 3 — Костром-
 ская. Межзональная группа север-
 ного наречия: 4 — Онежская; 5 —
 Ладская; 6 — Белозерская под-
 группы.
 Группы южного на ре-
 чия, 7 — Западная; 8 — Верхне-
 Днепровская; 9 — Верхне-Деснин-
 ская; 10 — Курско-Орловская; 11 —
 Восточная (Рязанская); 12 — Меж-
 зональная группа А южного наре-
 чия. Межзональная группа Б юж-
 ного наречия: 13 — Тульская; 14 —
 Елецкая; 15 — Оскольская под-
 группы.



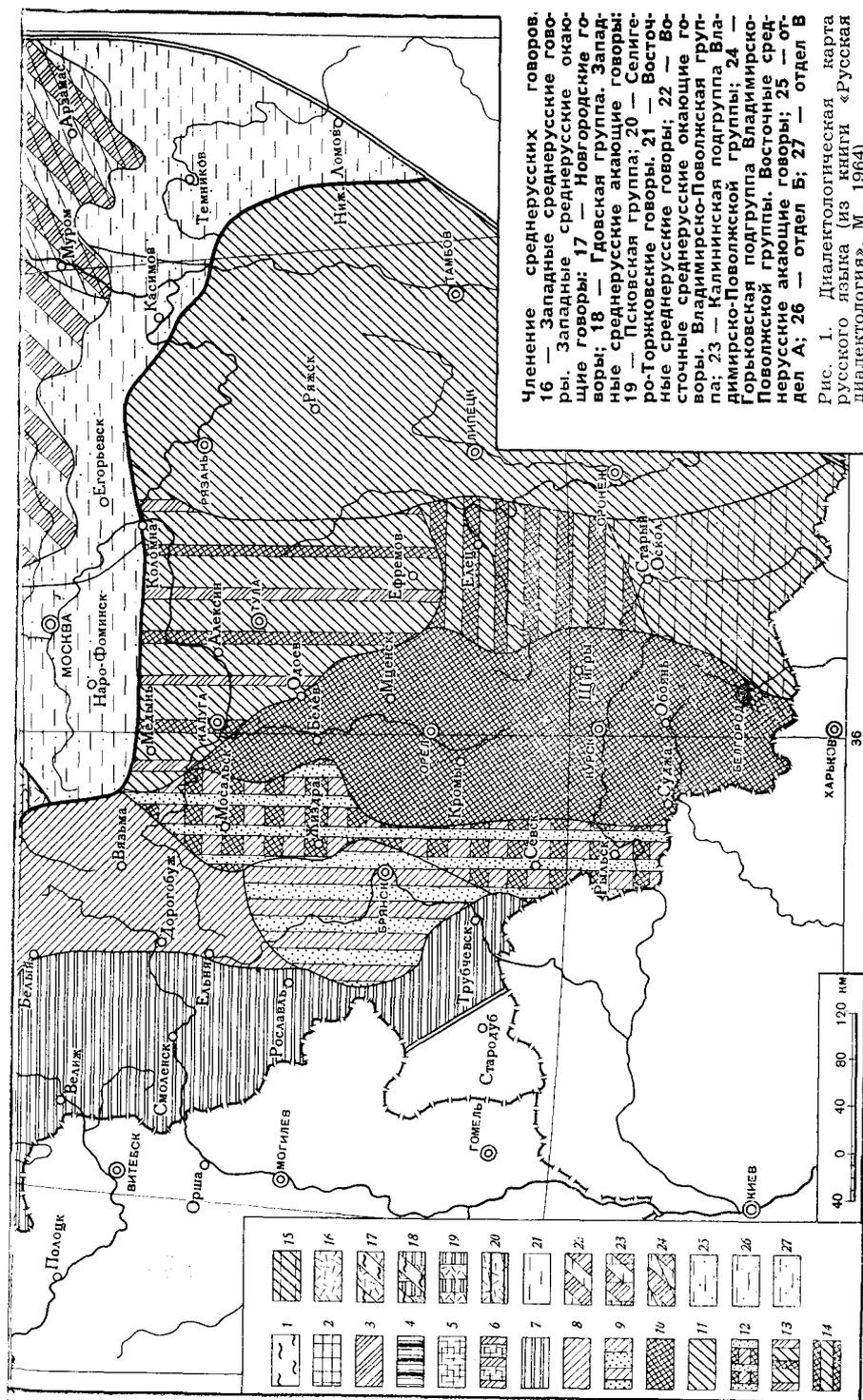


Рис. 1. Диалектологическая карта русского языка (из книги «Русская диалектология», М., 1964).

не менее все население не только Франции, но и дальше, включая соседние страны, представляет собой сплошную цепь людей, в которой каждый понимает своего соседа справа и слева.

Особое значение данные лингвистической географии имеют для истории языка. Лингвистическую географию и называют образно историей языка, положенной на карту. Язык, конечно, развивается, постоянно меняясь, в любой точке языкового пространства, но развитие это неравномерно по отношению к разным сторонам его системы. Именно поэтому на карте могут отразиться все стадии развития явления, а в речи современного жителя какой-нибудь русской деревни можно встретить архаические формы, известные нам лишь из памятников древней письменности.

Не только языковеды, но и специалисты, работающие в смежных науках, главным образом историки, постоянно обращаются к данным лингвистической географии. Она предоставляет в их распоряжение объективные сведения об истории народа: «Лингвистическая география дает нам в руки средство, позволяющее прояснить для исторической науки исчезнувшие культурно-исторические связи и культурные районы», — утверждает немецкий диалектолог Теодор Фрингс. Один из крупнейших исследователей истории древнего Новгорода профессор В. Н. Бернадский пишет: «Направление народных колонизационных потоков может быть прослежено главным образом на основе данных диалектологии и топонимики, а также фольклористики».

В современной науке разработана довольно совершенная методика интерпретации лингвистических карт, причем не только для нужд самих языковедов. Так, могут быть выяснены причины образования отдельных изоглосс, пучков изоглосс, более или менее важных языковых границ.

Самая общая причина образования языковой границы — хотя бы временный и неполный перерыв в общении. Препятствиями, затрудняющими общение, могут быть и значительные расстояния между отдельными населенными пунктами, и ландшафтные условия — непроходимые леса, болота, горы. Замечено, что реки обычно не разделяют, а напротив, объединяют в языковом отношении жителей их берегов. Объяснить это нетрудно: реки с древних времен служат людям простыми и удобными путями сообщения. Поэтому чаще можно встретить языковую границу, проходящую по водоразделу. На Восточно-Европейской равнине, где население издавна сосредоточивалось по берегам рек, а водоразделы были заняты дремучими лесами и болотами, это особенно заметно.

Как ни велико влияние естественно-географических факторов на образование языковых границ, важнее оказываются границы, основанные на организации самих общественных коллективов: древние племенные границы, границы средневековых феодальных государств, более поздние государственные, административные,

церковные и т. п. Именно их мы имеем в виду в первую очередь, когда говорим о возможностях интерпретации данных лингвистической географии в плане истории народа. «Центры зарождения и направление распространения диалектных новообразований определяются условиями языкового общения и его границами, то есть факторами социального порядка — экономическими, культурными. Сопоставление изоглосс того или иного диалекта с племенными и территориальными границами разного времени позволяет истолковывать диалектное членение как результат отношений социально-исторических» (В. М. Жирмунский. Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков. М.—Л., 1964, стр. 6—7).

В результате лингвогеографического обследования русских диалектов установлена связь между границами распространения оканья (совпадение *ц* и *ч* в одном звуке, обыкновенно — в мягком *ц*: *цай* 'чай', *яйцѣ* 'яйцо' и т. п.) и территорией, находившейся под властью Новгородского государства.

Украинские диалектологи, по данным Атласа украинского языка, установили, что на севере Украины диалектная граница — пучок нескольких изоглосс — между восточнополесскими и среднеполесскими говорами, проходящая примерно по Днепру, отражает феодальную границу между Черниговским и Киевским княжествами, затем между Северским княжеством и Киевским воеводством, позже (и до конца XVIII века) между Россией и Польшей.

●

Не следует думать, однако, что интерпретация изоглосс такое уж простое дело. История языка и лингвистическая география настолько связаны между собою, что знание фактов исторических, почерпнутых из памятников древней письменности, а также добытых путем сравнения родственных языков и диалектов, и дополняется данными современной географии языка, и само может корректировать исторические выводы, к которым приходит лингвогеограф. При сравнении той или иной изоглоссы с границами собственно историческими (племенными, государственными) необходимо учитывать время появления самого языкового явления, давшего изоглоссу.

Возьмем для примера одну из наиболее ярких в русском языке изоглосс — границу аканья-оканья (о канье — отчетливое произношение гласных в безударных слогах, дающее возможность различать их на слух: п[о]шѣл, п[а]шѣл; а канье — совпадение безударных гласных, как в литературном произношении: п[а]шѣл, н[а]шѣл — в квадратных скобках звук, близкий к ударенному а).

Оканье — типичная севернорусская черта; изоглоссу оканья-аканья (см. рис. 2) до недавнего времени все наши диалектологи считали южной границей севернорусского наречия (до опубликования книги «Русская диалектология» под редакцией Р. И. Аванесова — М., 1964, в которой часть окающих говоров отнесена к средневеликорусским, см. рис. 1).

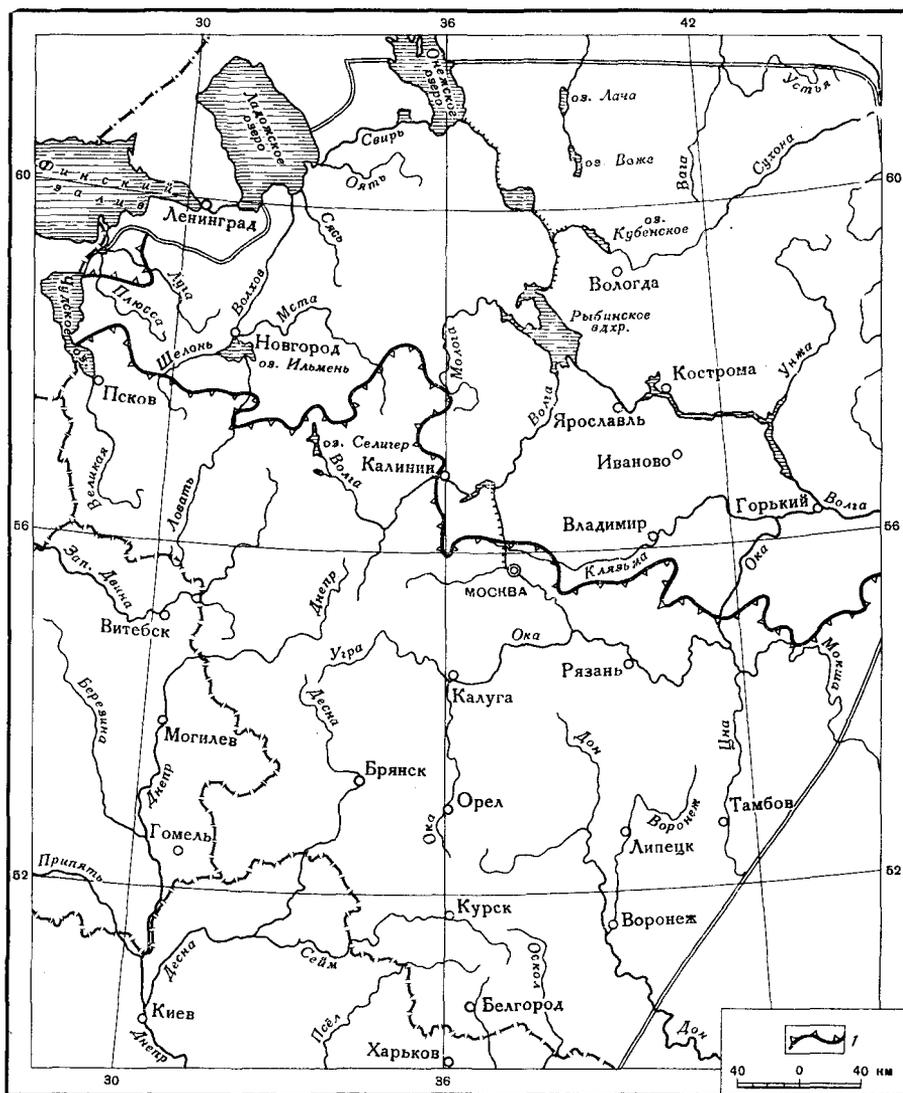


Рис. 2. Карта распространения аканья (на юг от указанной границы) и оканья в диалектах русского языка (из книги «Русская диалектология». М., 1964)

Аканье свойственно средневеликорусским диалектам и литературному русскому языку, всему южновеликорусскому наречию, а также и белорусскому языку. Это дало основания академику А. А. Шахматову отнести аканье к периоду, предшествующему образованию отдельных восточнославянских языков, к эпохе су-

ществования, по его терминологии, единого восточнославянского наречия. Границу аканья-оканья, и это согласовано с данными историческими, А. А. Шахматов считал древнейшей языковой границей кривичей и вятичей — территория распространения аканья включает почти всю племенную область вятичей (см.: А. А. Шахматов. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915). Это положение А. А. Шахматова было поддержано крупнейшими отечественными и зарубежными лингвистами: Н. Н. Дурново, Л. П. Якубинским, А. Вайаном и др. Оно подвергнуто сомнению в работах Р. И. Аванесова, вслед за Л. Л. Васильевым, связывающего возникновение аканья с последствиями падения редуцированных гласных ъ и ь. Член-корреспондент АН СССР Р. И. Аванесов и его последователи считают, что аканье возникло в русском языке не ранее XIII — XIV веков. С XIV века оно находит отражение в памятниках письменности, прежде всего московских (см.: «Вестник МГУ», 1947, № 9; «Вопросы языкознания», 1952, № 6. Эта точка зрения изложена в вузовском учебнике: В. В. Иванов. Историческая грамматика русского языка. М., 1964).

В самые последние годы в связи с исследованием архаических болгарских диалектов, в которых обнаружены явления, близкие русскому и белорусскому аканью, а также в связи с предположением о том, что аканье отражено в ряде новгородских берестяных грамот XI—XIII вв., точка зрения А. А. Шахматова получает новое подтверждение на более широком славянском материале (В. И. Георгиев. Русское аканье и праславянская система фонем.— «Вопросы языкознания», 1963, № 2; см. также статьи В. И. Георгиева и Ф. П. Филина в сб. «Lingua viget. Commentationes slavicae in honorem V. Kiparsky». Helsinki, 1965).

Составители Диалектологического атласа русского языка (под редакцией Р. И. Аванесова) делают общий вывод, что «наиболее крупные противопоставления языковых черт в пределах говоров русского языка складываются в основном на позднем этапе существования русского феодального государства» («Вопросы теории лингвистической географии». М., 1962, стр. 248). Однако и более ранние и поздние периоды истории народа могут быть отражены на картах диалектологических атласов. Лингвистический ландшафт территории — продукт ряда эпох, и всякое более или менее значительное изменение социальной географии отражается на географии языковой. Так, переплетение изоглосс, объединяющих среднерусские диалекты (см. рис. 1) с севернорусским и южнорусским наречиями отразило многочисленные переселения в этих районах в средние века и в новое время.



На лингвистических картах мы находим не только следы древних колонизационных потоков и старых политических границ: «При истолковании географического распространения языковых форм в большинстве случаев приходится исходить отнюдь не из

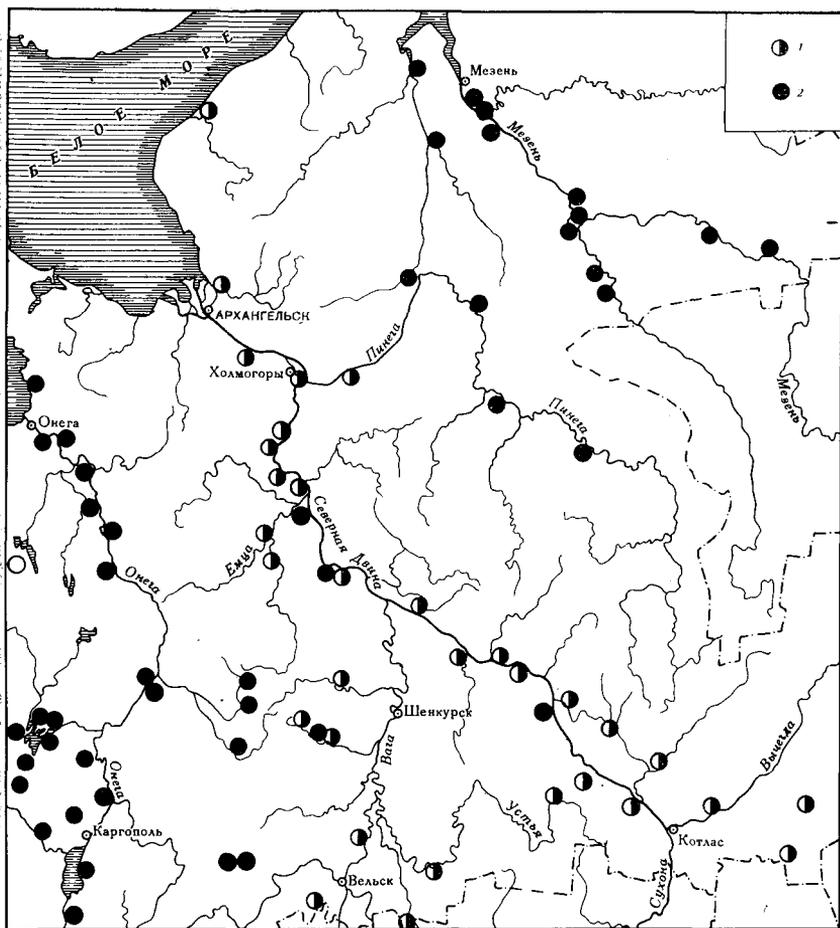


Рис. 3. Произношения слова *баня* в диалектах Архангельской области.
Условные обозначения: 1 — *бáня*; 2 — *бáйна* или *бáйня*

миграции носителей этих форм, хотя и этот факт приходится иногда учитывать... Во всяком случае наряду с миграцией носителей культуры существует миграция культурных ценностей» (А. Бах. — «Немецкая диалектография». М., 1955, стр. 141).

Местом зарождения языковых новшеств обычно бывают наиболее влиятельные в культурном, экономическом и политическом отношении районы и центры. Именно оттуда в пределах территории, занимаемой коллективом общения, распространяются эти новшества, — сказывается естественное стремление людей к подражанию наиболее авторитетным представителям общества. Влияние центра, как волна, постепенно затухает ближе к окраинам территории,

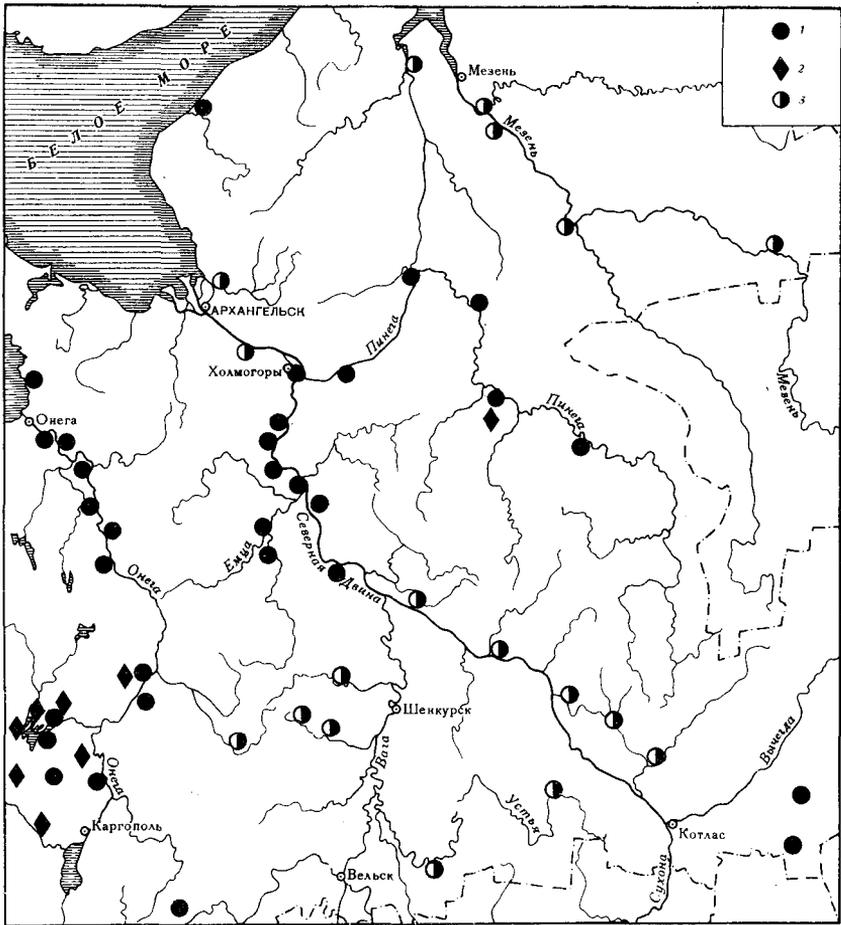


Рис. 4. Диалектные названия крыши в Архангельской области. Условные обозначения: 1 — хороба или хоробы; 2 — хорбина; 3 — сарай

и там в речи местного населения сохраняются дольше архаические формы речи.

В то же время следует учесть, что культурное, а вместе с ним и языковое влияние центра распространяется в языковом пространстве неравномерно. С наибольшей интенсивностью оно идет по оживленным путям сообщения, иногда даже «перескакивает» через большие территории от одного развитого района к другому. Сказывается на языковой географии также география торговли и собственно экономическая, например, различия в характере трудовой деятельности населения тех или иных районов.

Примером неравномерности распределения по территории старых и новых языковых черт могут служить районы Крайнего Се-

вера Европейской России. Здесь диалекты населенных пунктов, расположенных по самому морскому побережью, по своему строю ближе к «городскому» языку, так как местные жители — поморы с давних пор занимались торговлей, морским промыслом, лесосплавом и лесопилением, не сидели на месте, как крестьяне более южных районов, жившие довольно замкнуто и обособленно. А старый оживленный торговый путь из центра России на Север — к Холмогорам и Архангельску по Северной Двине отчетливо запечатлен на лингвистических картах.

Ясно прослеживаемая изоглосса произношения слов *ба́ня* — *ба́йна* (*ба́йна*) в диалектах современной Архангельской области (рис. 3) сложилась в эпоху, когда здесь не происходило уже интенсивных перемещений населения, — примерно в середине XVI века (до этого времени в многочисленных памятниках местной письменности употребляется только слово *мельня*, позднее здесь утраченное). А показанная на следующей карте (рис. 4) изоглосса диалектных названий крыши сложилась не ранее XVIII века (до этого времени крыша называлась здесь только *кровлей*), и связи населения устья Северной Двины с жителями дальней Мезени уже идут исключительно по морю (сравните эту карту с предыдущей). Это объясняется интенсивным развитием морского судоходства в Беломорье.

●

Лингвистическая география — сравнительно молодая наука. В бурном ее развитии за последние десятилетия, в успехах ее находим мы подтверждение мысли о неразрывной связи истории языка с историей говорящего на нем народа и с удовлетворением отмечаем все возрастающую роль языкознания в кругу общественных наук.

●

В 1876 году Георг Венкер (1852—1911), школьный учитель из Дюссельдорфа, позднее — библиотекарь в Марбурге, разослал учителям Рейнской области первые анкеты Немецкого атласа. Анкета состояла из 40 фраз, которые предлагалось перевести на местный диалект. Всего для Атласа немецкого языка были получены ответы из 52 800 пунктов, в том числе с территорий распространения немецких диалектов за пределами Германии. К 1926 году, когда ученик Георга Венкера Фердинанд Вредэ начал издавать Атлас, было изготовлено 1650 рукописных карт (каждая в двух экземплярах, один комплект хранился в Марбурге, другой в библиотеке Академии наук в Берлине). Печатное издание рассчитано на 20 выпусков и будет содержать 120 карт («Deutscher Sprachatlas». Marburg, 1926 и сл.).

●

Лингвистический атлас Франции состоит из 1920 карт, объединенных в 35 выпусков (G. Gilliéron et E. Edmont. Atlas linguistique de la France. Pa-

gis, 1900—1912). Материалы для атласа по анкете, составленной Ж. Жилье-роном, собрал его помощник Э. Эдмон, с 1897 по 1901 год обследовавший 639 населенных пунктов на территории Франции.

Первая карта восточнославянских наречий — «Диалектологическая карта русского языка в Европе» — была составлена в 1914 году членами Московской диалектологической комиссии при Отделении русского языка и словесности Императорской Академии наук Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколовым и Д. Н. Ушаковым. Северновеликорусские говоры на этой карте разделены на группы: поморскую, олонекскую, западную (новгородскую), восточную (вологодско-вятскую) и владими́ро-поволжскую; южновеликорусские — на южную (орловскую), тульскую и восточную (рязанскую); средневеликорусские говоры, по традиционной терминологии, переходные от северновеликорусского наречия к южновеликорусскому, разделены на группы: псковскую, западную (с городами Тверью и Москвой) и восточную (на восток от Москвы).

Своеобразным опытным полем русской лингвистической географии был район озера Селигер. Здесь, на стыке древних племенных и феодальных границ, на старом пути с Волги на Ильмень (он проходил через город Осташков) в 1935—1937 годах был собран материал для первого регионального атласа русских диалектов (М. Д. Мальцев и Ф. П. Филин. Лингвистический атлас района озера Селигер. М.—Л., 1949). Работа над ним велась в связи с подготовкой общего Диалектологического атласа русского языка. Обследовано 156 пунктов, частью прямым методом, частью при помощи рассылки анкет; составлено и опубликовано 45 карт. В экспедициях по атласу приняли участие крупные наши лингвисты В. И. Чернышев, Б. А. Ларин, С. А. Копрекий и другие.

В прошлом году вышел из печати подготовленный Институтом славяноведения АН СССР Карпатский диалектологический атлас. Он состоит из 212 карт. Для атласа было обследовано 150 населенных пунктов к западу от Днестра на территории Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей УССР. Руководитель работы профессор С. Б. Бернштейн писал: «В закарпатских и особенно в буковинских говорах содержится много явлений, характерных прежде всего для южнославянских языков (болгарского, сербскохорватского.— В. Д.). Их полное выявление, установление их границ даст в руки историков славянских языков надежный материал для решения вопросов древнейшей истории западноукраинских говоров, для определения характера генетических связей восточнославянских и южнославянских языков» («Краткие сообщения Института славяноведения». Вып. 33—34. М., 1961, стр. 184).

НЕИЗГЛАДИМЫЙ С Л Е Д

русские слова в языке
калифорнийских индейцев



В солнечном штате Калифорния мелкими брызгами вкраплены резервации вымирающих индейских племен. Проходит время — исчезают следы древних обитателей. Только археологи кропотливо ведут раскопки. Индейцы, ассимилированные пришельцами, приобщаются к новому образу жизни, забывают обычаи и язык своих отцов, становятся просто декоративным фоном для фотоснимков туристов-зевак. Но язык одного из этих вымирающих племен поразил бы нас. Разве не удивительно за 8 500 километров от родной земли услышать в речи калифорнийских индейцев русские слова! На своем родном языке индейцы предложат вам «молоко», «кофей», «чай», положат в «чашку» розовощекие «япалки». И это будет «чудо без чудес»!

Русские, открыв Берингов пролив, Камчатку и гирлянду Алеутских островов, первыми из европейцев сели на северо-западных берегах Нового Света. Русские колонии на Аляске нуждались в продовольствии. Доставлять его из европейских портов в обход мыса Доброй Надежды (ведь Суэцкого канала еще не было) оказалось делом нелегким. А между тем вблизи, южнее неприступной Аляски, лежали благодатные земли, где можно было создать житницу для Русской Америки.

С этой целью в конце сентября 1808 года отправились на юг два корабля — «Кодьяк» и «Святой Николай» под руководством замечательного морехода и предприимчивого администратора Ивана Александровича Кускова. Бриг «Святой Николай» южнее пролива Хуана де Фука потерпел крушение. Часть команды попала в плен к индейцам. В числе их был приказчик по хозяйственной и счетной части Тимофей Осипович Тараканов. Он провёл в плену 1 год и 8 месяцев и только в июне 1810 года был выкуплен и вернулся в столицу Русской Америки — Ново-Архангельск (ныне город Ситка, Аляска). Зимой, от безделья Тараканов мастерил деревянную посуду — кадушки и бочонки, которые высоко ценились индейцами. Можно полагать, что для совершенно новых предметов индейцы воспользовались русскими словами.

Во время плавания Кусков приметил удобные земли севернее залива Бодего, названного русскими заливом Румянцева, но только в плавание 1811 года, одарив медалями и скромными подарками индейского вождя, он получил землю для поселения. В 1812 году, в тягелую для России годину, Кусков на судне «Чириков» прибыл туда со всем необходимым для закладки колонии. В короткий срок была по-

ставлена крепость 170 сажен в окружности. Форт был сооружен на возвышенном плато с жилыми домами и хозяйственными постройками у подножья. Селению дали звучное и гордое имя Росс. Оно лежало в 50 милях севернее Сан-Франциско, в середине территории индейцев юго-западных Помо.

В колонии обильно родились картофель, репа, редька, салат, капуста, горох и бобы, дыни и арбузы — репа достигала веса в 13 фунтов, а редька — часто около пуда, а однажды даже в пуд и 13 фунтов! Урожай картофеля снимали два раз в год. В большом фруктовом саду зеленело 260 фруктовых деревьев. На тучных пастбищах содержались большие стада. В 1833 году в колонии насчитывалось постоянного населения около 300 человек, в том числе 50 русских, 88 креолов, 83 алеута и более 70 индейцев. Для сельскохозяйственных и других работ в отдельные периоды привлекали еще до 150—200 индейцев, а по данным некоторых американских авторов, общее число в колонии достигало 800 человек. О размахе морского промысла (осуществляемого алеутами) можно судить по тому, что в начальный период бывали недели, когда в районе залива Сан-Франциско с разрешения испанских властей промышленлось по семь-восемь тысяч морских бобров, мех которых высоко ценился во всем мире.

У русских колонистов сложились хорошие отношения с местным населением. Как писал выдающийся мореплаватель Василий Михайлович Головнин, в 1818 году посетивший колонию Росс, индейцы не признавали испанских колониальных властей и были в постоянной вражде с ними, а «русские промышленники

по одному и по два ходят стрелять в леса диких коз, часто ночуют у индейцев и возвращаются, не получив ни вреда, ни обиды... Индейцы сии отдают своих дочерей в замужество за русских и алеут, поселившихся у них; и в крепости Росс теперь их много. Через сие составились не только дружество, но и родственные связи».

Русские принесли в эти глухие места новую культуру, научили местных жителей земледелию и животноводству, не известным ранее ремеслам, ввели в их обиход множество предметов и понятий, что оставило глубокий, неизгладимый след в языке индейцев Помо.

Связи русских поселенцев с исконными жителями Америки могли стать и еще крепче. Дело в том, что Фердинанд Петрович Врангель, известный русский мореплаватель, будучи правителем русских владений в Америке, убедил республиканские власти Мексики уступить России плодородную долину, лежащую южнее Форта Росс, вблизи нынешнего Сан-Франциско. Это давало возможность обеспечить русские колонии хлебом и другим продовольствием. Оставалось только признать Мексиканскую республику. Однако Николай I считал мексиканцев, добившихся независимости, мятежниками и отверг предложение о признании республики.

Между тем колония Росс приносила убытки. К ней все ближе подступали поселения американцев. Пришел день, когда ее имущество было продано за 30 000 пиастров немцу по рождению, швейцарцу по происхождению и американцу по паспорту, одной из наиболее важных и красочных фигур ранней Калифорнии, предприимчивому и удачливому авантюристу Джону Сутте-

ру. К 1842 году русские промышленники оставили Форт Росс, но часть «вольных поселенцев», ушедших с ферм колонии и осевших в долине реки Сакраменто, осталась.

Коротко остановимся на другом возможном контакте русских с калифорнийскими индейцами. В 1808 году Василий Берх, моряк и историк русского флота, обычно хорошо информированный и не склонный к необоснованному сочинительству, в предисловии к книге Херн и Макензия (современная транскрипция — Макензи) о путешествии по северу Америки к Ледовитому и Тихому океанам писал: «В 1788 году была прислана от испанского двора бумага, которая извещая наше правительство, что они нашли русских бородатых в Калифорнии, просили уведомить себя, за чьих подданных их признавать? Кто может оспоривать, что это не потомки тех людей, коих Чириков высадил; ибо нам известно, что ни одно из русских судов не ходило ниже его к югу». Действительно, судьба части экипажа, высаженного Чириковым на берег в 1742 году (правда, значительно севернее калифорнийского побережья) и не вернувшегося на корабль (15 человек), так и осталась неразгаданной тайной, но вряд ли речь могла идти именно о них. Немало других русских судов пропало без вести при плаваниях на Алеуты и к Аляске. Впрочем, никаких подтверждений существования подобной бумаги от испанского двора, насколько нам известно, не обнаружено. Нет сведений и о других возможных влияниях русских на американских туземцев помимо Аляски, где ряд эскимосских племен сохранили в языке мощный слой русских слов.

Другая информация пришла не-

посредственно из Калифорнии и независимо от Берха. Известный русский мореплаватель Отто Коцебу сообщил после посещения колонии Росс в 1824 году, что «у индейцев существует древнее предание, согласно которому у здешних берегов однажды потерпело крушение судно. Спасшиеся с него белые люди поселились в этой долине и жили в дружбе с индейцами. О том, что стало с ними в дальнейшем, нет никаких сведений». Далее он пишет об одном племени из этих мест, «принадлежащем к совершенно иной расе». Коцебу считает, что оно произошло от смешения местного населения с потерпевшими крушение («Новое путешествие вокруг света в 1823—1826 годах»). Когда именно белые люди высадились на индейском берегу, осталось неизвестным. Может быть сообщение об этом, Берха и Коцебу,— свидетельство об одном и том же факте? А американцы по понятным причинам не были заинтересованы в поисках или подтверждении свидетельств ранних визитов русских на западное побережье Северной Америки. Так же, как и Коцебу, мы не склонны отнести его информацию к возможному раннему проникновению русских в Калифорнию и не имеем твердых оснований связывать ее с сообщением Берха, но мы и не вправе целиком исключить такую вероятность. В самом деле, не сметены ли следы пребывания русских вместе со многими индейскими племенами безжалостным «бульдозером» американской цивилизации?

Форт Росс оставил глубокий след не только в топонимике района (около 20 названий), но и в культуре и языке целого народа. На географической карте вы найдете «Русскую реку», которую сами поселен-

ицы называли Славянкой. Здесь вам встретятся «Русские овраги», да и само имя Форт Росс до сих пор закреплено за остатками русского поселения, которое реставрировано и стало мемориальным памятником калифорнийского прошлого. Видимо, название горы «Святая Елена» вблизи Форта Росс также реликт русских.

Еще в последней четверти прошлого века американский этнограф С. Поуэрс в книге «Племена Калифорнии» (1877) впервые отметил, что индейцы Помо продолжают использовать русские слова: *мелуко* 'молоко', иногда слово *ружье* в форме *sooшyo*. Индейцев, проживающих вокруг Форта Росс, они называют *e-rus'si*.

Ни наши, ни американские ученые длительное время не интересовались влиянием русских на язык и культуру индейцев района Форта Росс. Теперь, через век с четвертью после ликвидации колонии, трудно восстановить воздействие русских на эволюцию культуры небольшого индейского племени, испытавшего впоследствии испанское и североамериканское влияние. Однако язык юго-западных Помо оказался весьма ценным индикатором и хранителем русского «наследия». Устойчивость этого влияния, несомненно, объясняется тем, что заимствованные слова закрепились в языке для тех предметов, первому знакомству с которыми индейцы Помо были обязаны русским.

Только в 1957 году служба калифорнийских индейских языков департамента лингвистики Калифорнийского университета в Беркли заинтересовалась поиском возможных заимствований из русского у юго-западных Помо. Летом того же года в результате полевых исследо-

ваний было обнаружено не менее 12 таких слов. Однако это исследование вряд ли было исчерпывающим. Естественно было ожидать, что слова подвергнутся существенной переработке в соответствии с грамматическим и звуковым строем языков, весьма далеких от славянских. Но этого не произошло. Значительно больше искажались русские слова эскимосами Аляски и даже нашими бурятами, которые несравненно более длительное время и более тесно общались с русскими. Петряев в книге «Исследователи и литераторы старого Забайкалья» (1954), например, привел следующие образцы переделки бурятами русских слов: *шениисэ* — 'пшеница', *ешмээн* — 'ячмень', *кортообко* — 'картофель (картошка)', *гурсэ* — 'огурец', *божо* — 'возжи', *оглеобо* — 'оглобли', *калааса* — 'калач'.

Заимствованные русские слова в языке Помо можно разбить на четыре группы (по три слова в каждой): 1) растительный мир, 2) пища, 3) посуда и предметы домашнего обихода и 4) разное.

В первую группу мы включаем слова *пшеница*, *горчица*, *яблоки*. Научившись от русских земледелию, Помо, естественно, получили от них и название основной зерновой культуры, возделываемой колонистами, — пшеницы, которое зазвучало не так уж близко — *šinitša*. Значительной адаптации подверглось название основного продукта садоводства колонии — *яблока*. Помо его сохранили в форме *ja.palka*. Тот же переход *б* в *п* замечен и у эскимосов залива Принца Уэльского (по Хаммериху) — *ja:palageg*. Более сложной метаморфозе подверглось слово *горчица*. Дикая горчица в огромном количестве росла в окрестностях форта Росс и вероятно местные жители

имели для нее свое собственное название до тех пор, пока не научились использовать этот дар природы в пищевых целях. Русское название «гибридизировалось» с индейским и стало звучать как *kulucitča*. Здесь сказалось действие народной этимологии, заместившей слог *гор* туземным словом *kulu*, означавшим 'лесная' или 'дикая'.

Ко второй группе мы относим слова *молоко, чай, кофе*. Развитие животноводства в колонии требовало большого количества рабочей силы. Здесь-то индейцы и узнали вкус нового для них продукта питания; они использовали русское слово с окончанием — *polokko*, в то время как эскимосы восприняли его в иной форме: *malakoq* (Тунивак), а алеуты как — *puuluku*. Индейцы Помо научились от русских пить чай и кофе, используя без особых изменений соответствующие слова: *ča·yu* и *kofey* (в народной разговорной форме).

Третья группа состоит из слов *ложка, чашка и мешок*. *Ложка* вошла в язык Помо в неизменной форме: *logka* (на Юконе, Аляска — *luskaq*). Фонетические изменения претерпело слово *мешок* — *musik* (таким же оно стало и на Аляске). В слове *чашка* звук *ш* перешел в *с* — *časka*. Оно было использовано индейцами для образования составного слова (нового понятия — шкаф для посуды). Помо не воспользовались русским словом для этого вида мебели, а назвали его образным выражением — «дом чашек» — *časka·hčo*, где последний слог на туземном языке означает 'дом', 'хижина'.

Четвертая группа включает слова *чужки, кошка, парус*. Можно полагать, что привычку содержать домашних кошек индейцы заимствовали у русских, обогатив свой лексикон словом *kuska* (на Кодьяке это слово получило форму *koshkak*, в

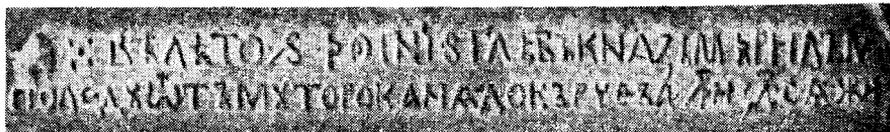
Бристольском заливе — *kuchkat*, а у алеутов — *ku:ski*). По-видимому, у индейцев Помо предмета, подобного чулкам, до контакта с русскими не было. Так же, как на Кодьяке и в Бристольском заливе, индейцы Помо опускают звук *л* и получают слово, мало похожее на русское, — *či·ki*. Слово *парус* они произносят точно так же, как мы с вами, читатель. Почти все племена Америки не использовали парус до контакта с европейцами, хотя, по-видимому, и раньше видели парусные суда. Но только после встречи с русскими парус стал близко знаком Помо.

Мы видим, что русские слова, вошедшие в лексикон юго-западных Помо, охватывают широкий круг предметов из различных областей труда и быта. Весьма примечательно и то, что ряд слов из языка юго-западных Помо, имевших непосредственный контакт с русскими, вошел в лексикон центральных Помо, расположенных значительно севернее. Это слова — *ложка, парус, чай* и, возможно, *кофе*, если оно не пришло из испанского. Таким образом, влияние русского языка оказалось значительно шире зоны непосредственного контакта с русскими. То же было отмечено Хаммерихом и на Аляске. Там русские слова проникли вместе с предметами на остров Нунивак, где не было русских поселений.

В заключение остается только пожелать, чтобы американские исследователи попытались выявить влияние русских на хозяйство, культуру и быт индейцев Помо. Тогда полностью будет очерчена культурно-историческая роль колонии русских в северной Калифорнии.

С. Р. ВАРШАВСКИЙ,
действительный член
Географического общества СССР

ТМУТАРАКАНСКОМУ КАМНЮ



900 ЛЕТ

В 1792 году в развалинах крепости недалеко от Тамани была найдена мраморная плита, на которой высечена надпись в две строки.

Это был знаменитый теперь «Тмутараканский камень», один из древнейших памятников русской письменности. Сейчас он хранится в Ленинграде, в Государственном Эрмитаже. В научный обиход его ввел известный собиратель древностей А. И. Мусин-Пушкин, а первое палеографическое исследование памятника принадлежит А. Н. Оленину (1803).

Длина надписи 0,89 м, ширина 8,9 см, высота букв 2,5 см. Буквы вырезаны четко и красиво. В целом надпись хорошо сохранилась, хотя с правой стороны небольшие куски камня с буквами отбиты (по-видимому, ударами кирки).

Находка оказалась очень ценной. Прежде всего важно, что памятник датирован. В тексте указано точно: «Въ лѣто .s. ѿ [N].s.» (Въ лѣто 6576, индикта 6). В древнерусском письме для выражения числовых значений использовались не цифры, а буквы. В этих случаях по бокам буквы ставились точки, а сверху — черточка (титло). Например: \bar{a} . обозначало 1, \bar{b} . — 2, \bar{g} . — 3, \bar{d} . — 4, \bar{e} . — 5, \bar{s} . (буква «зело») — 6. Буква \bar{i} . означала 10, \bar{k} . — 20, \bar{l} . — 30 и т. д. Особым знаком (внизу слева от буквы) обозначались тысячи: так, \bar{a} . означало 1000, \bar{b} . — 2000 и т. д. В нашем примере первая буква \bar{s} . означает 6000, \bar{f} . — 500, \bar{b} . — 70 и \bar{s} . — 6 (причем цифра 3 написана внутри \bar{c} , об этом см. ниже).

Чтобы перевести дату с принятого в Древней Руси летосчисления (от так называемого «сотворения мира») на наше, нужно отнять от указанной даты 5508. Следовательно, на камне указан 1068 год (*лѣто* означает 'год'). Итак, с небольшими изменениями фраза будет иметь следующий вид:

«Въ лѣто 6576 \bar{i} _{ни} 6 Глѣбъ князь мѣрилъ мо(р)к по леду \bar{c} Тьмуторокана до Кърчева 10 000 и 4 000 саже(нѣ)».

В надписи упоминается также шестой индикт. Индикты — это пятнадцатилетние циклы. Счет времени индиктами использовался в Древней Руси гораздо реже, чем обычный счет годами.

Памятник относится ко времени непродолжительного княжения в Тмутаракани князя Глеба Святославича — факт, известный из летописей. Очевидно, измерение ширины Керченского пролива, о котором идет речь в надписи, было произведено зимой 1067—1068 года.

Эта маленькая надпись рассказала ученым о многом. Она подтвердила, что таинственное Тмутараканское княжество, упоминающееся в летописях, находилось возле Тамани, дала сведения о старинных мерах длины. Памятник интересен и для изучения состояния ремесел в Древней Руси. Видимо, были в то время хорошие каменотесы — надпись выполнена на редкость мастерски.

Со времени находки и до наших дней «Тмутараканский камень» продолжает интересовать языковедов, палеографов, историков. Ему посвящена большая научная литература. Казалось бы, камню «повезло»: с него фактически началась русская палеография (вспомним работу А. Н. Оленина), и даже в наши дни история камня, исследование и споры вокруг него послужили удачным поводом для популяризации палеографии и эпиграфики — науки о надписях на предметах, «вещественной палеографии» (см.: А. Монгайт. Надпись на камне. — «Наука и жизнь», 1967, №№ 5, 7, 8).

Чем же объяснить научные споры по поводу этого памятника? Дело в том, что в начале XIX века памятник был заподозрен, по-видимому, необоснованно, в поддельности. Споры, длящиеся уже второе столетие, ни к чему не привели, все возражения со временем убедительно опровергались, но возникали новые, повторялись и старые, уже скомпрометированные. Знаменитый русский филолог И. И. Срезневский писал, что Тмутараканский камень «дал русской литературе с неудачными снимками целый ряд статей неудачного спора о подлинности надписи, дал повод и первому счастливому шагу нашему в палеографии» (Славяно-русская палеография XI—XIV вв. СПб., 1885, стр. 8). Палеографический и лингвистический материал памятника не дает никаких оснований предполагать подделку; более того, палеография памятника подтверждает его подлинность.

По форме букв Тмутараканская надпись обычна для русского уставного письма XI века и близка к «Остромирову Евангелию» — древнейшей из дошедших до нас восточнославянских рукописей (1056). Есть и некоторые оригинальные черты. Например, *p*, написанная на строке (в русских рукописях обычна *p* с вертикальной палочкой ниже линии строки), *e* с длинным язычком, *o* с разведенными краями и низкой серединой (в русских памятниках XI века обычна *o* с высокой серединой), палочка после *n* в сокращенном слове *iN* | — «индикт», *z* внутри *o* др. Такое написание характерно было для византийских эпиграфических (написанных главным образом на камне) памятников X—XI веков, найденных в Причерноморье. Так, палочка после *n* в сокращенном *iN* | может читаться как «и», но она изогнута и скорее напоминает греческий (византийский) знак сокращения (см.: А. А. Спицын. Тмутараканский камень. — «Записки Отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества». Т. XI. Пг., 1915).

По-видимому, о византийском влиянии говорит и оригинальное написание одной буквы внутри другой (*s* внутри *o*): в греческих надписях Причерноморья такие написания встречаются, в то время как в русских памятниках подобные признаки вязи не встречаются до конца XIII века.

Здесь мы встречаем также один из самых ранних случаев сокращенного (лигатурного) написания предлога *отъ* в виде $\overset{\tau}{\omega}$, которое впоследствии становится обычным для древнерусских памятников.

Тмутараканская надпись, как и другие памятники русской письменности XI века, непосредственно в употреблении буквы τ и тем самым отражает происходивший в это время процесс падения редуцированных гласных. Редуцированный сохранился в словах *Тъмѣторокаѧ* и *Кърчева* (древнее название города Керчь), но исчез в слове *кълязь* (древнейшее написание этого слова — *кълязь*).

Интересно написание *по лед ѣ*. В древнерусском языке слово *лѣд* произносилось с *e* после *л* и склонялось так: *лед, леда, леду...* т. е. беглый гласный появился в нем значительно позже по образцу таких слов, как: *день — дня, пень — пня, пес — пса* и др. В этих словах первоначально был в корне редуцированный гласный ϵ , который в эпоху падения редуцированных (XI—XII века) изменился в форме именительного падежа в гласный *e* (сильная позиция), а в формах косвенных падежей выпал (слабая позиция). В результате в именительном падеже первоначальное *днь* изменилось в *день, пнь* — в *пень, псь* — в *пес*, а в родительном *дья* — *дня, пья* — *пня, пса* — *пса*. Слово *лед*, которое имело в корне не редуцированный ϵ , а гласный полного образования *e*, впоследствии «подравнялось» по звучанию к этим словам.

В русском языке в древнейшую эпоху его существования были носовые гласные звуки *o* и *e*. Звук *e* «носовое» изображался буквой λ («юс_малый»).

Но к тому времени, когда создавались древнейшие из дошедших до нас древнерусских памятников, эти звуки уже исчезли: о «носовое» перешло в у, а е «носовое» — в а с предшествующим мягким согласным. Буква А в письменности сохранилась; однако ее стали писать не только в словах с прежним звуком е «носовое», но и в словах с исконным звуком а и предшествующим мягким согласным, т. е. на месте буквы ѡ. На Тмутараканском камне в словах *ѡнѡзъ* и *сѡжень* буква А написана на месте старого «носового» е, а в слове *Тѡмѡтораканѡ* — вместо ѡ (*Тмутараканѡ* здесь слово мужского рода, как и обычно в русских летописях).

Хотя слово *сажень* на камне не дописано, тем не менее его написание представляет особый интерес для этимологов. Буква А после с в этом слове говорит о том, что в древности оно имело гласный е «носовое». Значит, слово *сажень* имеет тот же корень, что *посѡгать*, диалектное (без приставки) *сѡгать* «касаться, доставать, достигать». По значению *сажень*, как меру длины, можно сопоставить с диалектным словом того же корня *сѡг* «расстояние, на которое можно шагнуть».

Тмутараканская надпись — одно из самых ранних свидетельств выпадения связи из составного причастного сказуемого: старое причастие прошедшего времени *мѡриль* употреблено здесь без связки. В «Остромировом Евангелии» подобные примеры встречаются очень редко. Обычным в памятниках того времени было составное сказуемое со связкой — формой глагола *быти*, например, *мѡриль естъ*.

Л. Е. ЛОПАТИНА

«Письмовник» Курганова

Вероятно, многим читателям приходилось слышать о письмовниках. Обычно это сборник образцов писем — частных и служебных. Но книга Курганова, первая часть которой представляет собой сведения по грамматике, а вторая — своего рода хрестоматию для чтения, не была письмовником в обычном смысле этого слова. Сам автор употребляет понятие «письмовник» для перевода иностранного слова «грамматика», что и объясняет происхождение названия труда во втором и последующих изданиях. Книга Курганова — это своеобразная энциклопедия. В ней читатель находит сведения из различных областей знаний на уровне науки того времени. Подобные сборники раньше не издавались.

Сведений об авторе «Письмовника» сохранилось немного. Главным образом это его послужной список.

Ни писем к нему или от него, ни дневников, ни каких-либо воспоминаний о нем нет. Небольшой деревянный домик на 16-й линии Васильевского острова в Петербурге, где жил Н. Г. Курганов, сгорел. По всей вероятности, в огне погибли многие интересные материалы, которые помогли бы нам более отчетливо представить себе этого человека. Однако даже из немногих имеющихся источников можно понять, что Курганов был человеком одаренным и широко образованным для своего времени.

Николай Гаврилович Курганов родился в 1725 (1726—?) году в семье унтер-офицера. Умер в январе 1796 года. В 1738 году Курганов поступил в основанную Петром Первым Московскую навигационную школу. В 1741 году, успешно закончив курс наук в этой школе, он был переведен для продолжения

обучения в Петербургскую Морскую академию. Исключительные способности Николая Гавриловича были замечены. Будучи еще слушателем Морской академии, он там же начал свою преподавательскую деятельность. Курганов основательно изучил несколько иностранных языков и перевел (с французского) руководства по навигации Бугера и Северьена. Им написаны учебники по арифметике, геометрии и астрономии, руководства по морскому инженерному делу.

Широта интересов Н. Г. Курганова, фундаментальное знание им иностранных языков и художественной литературы, стремление быть полезным своему народу и передать накопленный опыт молодому поколению снискали ему заслуженный авторитет. В 1764 году Академия наук привлекает Н. Г. Курганова к составлению академического толкового словаря. Степень участия Николая Гавриловича в этом труде осталась неизвестной.

В марте 1774 года Н. Г. Курганову было присуждено звание профессора высшей математики и навигации.

Пятью годами раньше вышло первое издание его «Письмовника». Первоначально книга называлась «Российская универсальная грамматика или всеобщее письмословие, предлагающее легчайший способ основательного учения русскому языку, с семью присовокуплениями разных учебных и полезноразвлекательных вещей». Открывает книгу Универсальная грамматика (в первом издании занимает 105 страниц из 424).

Задачу грамматики как науки Курганов определяет так: «Грамматика есть знание, как говорить и писать правильно, то есть по

своейству и лучшему употреблению языка».

Отличая славянский язык от русского, автор дает два алфавита, сначала славянский с названиями всех букв, затем русский в современном чтении, в соответствии с введенным Петром Первым гражданским алфавитом «для легчайшего изречения». Интересны замечания автора, сделанные к некоторым буквам: «Букву ъ надобно выговаривать, как латинскую или немецкую литеру *e*» или: «Буква *e*, твердо выговаривается: 1) в начале слова, как в междометии *ей*; 2) в местоимениях *этот, эта, эти* и пр. и 3) в иностранных: *эскадра, экономия, етимология, эхо*; а пишут иногда обратную *э*, для различия от мягкого *e*». В этом толковании Курганов следует за Ломоносовым.

Представление о количестве родов имен иное, чем в современной грамматике. Курганов упоминает четыре рода: мужской, женский, средний и общий, снабжая каждый соответствующими примерами. Для общего рода подобраны примеры: сей, сия, обжора, ханжа. Здесь же дано следующее примечание: «Из предписанных правил выключаются имена рыб, птиц, зверей, пресмыкающихся и насекомых, которые суть рода общего, как: кит, осетр, белуга, ворон, орел, ласточка, сорока, пифик, бобр, мышь, меденица, аспид, василиск, пчела, оса, муравей и пр., которых пол различается приложением слова *самец* или *самка*».

Дано большое количество образцов склонения и спряжения с их описанием, говорится о наличии в русском языке десяти времен глагола, как и в «Российской грамматике» М. В. Ломоносова. Например:

Настоящее время: скачу

Прошедшее несовершенное: ска-
кал

Прошедшее однократное: скак-
нул

Давно прошедшее первое: ска-
кивал

Давно прошедшее второе: быва-
ло скакал

Давно прошедшее третье: быва-
ло скакивал

Будущее неопределенное: буду
или стану скакать

Будущее однократное: скакну

От сложенных глаголов — Прошед-
шее совершенное: поскакал.

Будущее совершенное: поскачу.

В главе, посвященной междоме-
тиям, Курганов пишет: «Между-
метия есть слово несклоняемое и
разные душевные движения или
пристрастия кратко изъясляющее».
Курганов обстоятельнее, чем Ломо-
носов, систематизировал эту часть
речи. Классификация междометий
дана по смыслу: «Радостные: га, ага,
хорошо, изрядно, гой... запреше-
ния: цыц или цыть, тс, не трогай...
призывания: э, слушай! пожар! во-
ры! гей!.. смеяния: ха, ха, ха...».

Оригинальным включением в
Граматику является замечание
Курганова о прилогах. Прилогами
он называет частицы *де*, *дескать*,
ка и некоторые другие. Во второй
части Граматики, названной авто-
ром «О сочинении слов и речей»
читаем: «Сия частица *де* обыкно-
венно употребляется в разговорах
и на письме в таких случаях, ког-
да один другому слово третьего ли-
ца пересказывает... А в просторе-
чии вместо той частицы *де* употреб-
ляют какое-то речение „Дискать...
до бога, дискать, высоко, а до ца-
ря далеко“...». О частице *ка* после
глаголов в повелительном наклоне-

нии Курганов говорит, что она
«умягчает силу повеления или при-
казания или оно тем приветливее
делает». Имея в виду кавычки, Кур-
ганов поясняет, что теперь в под-
ражание иностранной манере чу-
жую речь отмечают «двойными за-
пятыми».

Особый раздел посвящен орфо-
эпии и орфографии. Автор так на-
ставляет своих учеников: «Хотя вы-
говор буквы *а* вместо *о* приятнее,
однако писать же *хачу*, *патѹки*,
гавари, *пади* и пр. вместо *хочу*, *по-
тѹки*, *говори*, *пади* весьма непри-
стойно». Заканчивается этот раздел
небольшим перечнем трудных слу-
чаев правописания. Например: «Пи-
сать *б* вместо *п*, как *дуб*, *лоб*. Так-
же *погребсти*, а не *погresti*... Спра-
ведливее писать *острый*, *оспа*, *от-
чина*, *осьмой*, *осьмь*, несмотря, что
говорят *вострый*, *воспа* и проч., ибо
оспа от *осыпаю*, *отчина* и *отчизна*
от *отца* происходят... *Турок* имени-
тельный падеж единственного, а не
турка...» и т. д.

Из небольшого наставления о том,
что можно учиться сочинению раз-
ных писем, видно, что сам Курга-
нов не имел цели создать письмов-
ник, как сборник образцов писем:
«...мне о том издать от нужнейших
дел было не свободно». Однако на-
чиная со второго издания, осуще-
ственного в 1777 году, и в после-
дующих изданиях, книга Кургано-
ва, завоевавшая популярность под
сокращенным названием «Письмов-
ник», уже так и именовалась:
«Книга письмовник, а в ней наука
российского языка с семью присо-
вокуплениями разных учебных и
полезнозабавных вещесловий...».

В Присовокуплении первом дана
коллекция русских пословиц и по-
говорок, расположенных в алфавит-
ном порядке. Пожалуй, это

первое подобное собрание, так как «Собрание 4291 древних российских пословиц», которое опубликовал А. А. Барсов в Москве, вышло в 1770 году, т. е. через год после первого издания книги Курганова. Среди пословиц есть такие, которые мы употребляем и сейчас. Например: «Большому кораблю — большое плавание», «Взялся за гуж — не говори, что не дюж», «Двум смертям не бывать, а одной не миновать», «Знает кошка, чье мясо съела», «Куй железо пока горячо», «Мягко стелет, да жестко спат» и т. д. Некоторые пословицы, состоящие из устаревших или иначе воспринимаемых теперь понятий, уже не встречаются: «Ангел в правде помогает, а бес лжею подстрекает», «Быть так, коль пометил дьяк», «Близ царя близ чести, близ царя близ смерти» (интересно отметить, что в собрании пословиц, опубликованных Барсовым, дана только вторая половина: «Близ царя близ смерти»).

Некоторые пословицы имеют продолжение, теперь утраченное: «Звонки бубны за горами, а к нам придут, как лукошки», «Рука руку моет, обе хотят белы быть», «Что с гуся вода — небывальные слова» и т. д. Часть пословиц Курганов приводит в иной форме и иными словами в сравнение с известными сейчас: «Быль молодцу, не укора», «Выменил кукушку на ястребца», «Нарекшись груздем, лезь в кузов», «Не держи сто рублей, держи сто друзей», «На людях и смерть красна», «На грешного Макара и шишки летят», «Соловья басни не кормят», «Треску бояться и в лес не ходить», «Не дери глаз на чужой квас, ране вставай, да свой затирай» и т. п. Есть пословицы, которые не ясны, видимо, из-за диа-

лектных слов: «Грунью [скоробгом] лета не избегаешь», «Не ставь боярские сени булдырем» [волдырем, нарывом] и т. п. Интересно, что в некоторых пословицах употреблялось иное число, чем теперь: «Десятая вода на киселе», «Десятью смерей, однава отрежь».

Наибольшей популярностью пользовалось Присовокупление второе — «Краткие замысловатые повести», которых в первом издании было 321, но в дальнейшем их число дошло до 350. Сам составитель говорит, что большинство повестей, состоящих нередко из пяти-семи строк, переведены с «иноязычных книг», указывает он и источник: «...а следующие выбраны из книжки, называемой „Краткие витиеватые и нравоучительные повести“, печатанной на славянском в Москве 1741 года, коя после многократно уже издаваема была в Академии наук...». Курганов не просто переводил эти повести, некоторые из них он стремился привести в соответствие с русской действительностью, сделать их более понятными для неискущенного читателя. Многие повести представляют собой сатиру на действительность. Вот одна из небольших повестей: «Подьячий при допросе некоего раскольника говорил: „Буде у тебя совесть столь велика, как твоя борода, сказывай правду“.— „Государь мой,— отвечал сувер,— ежели вы совести бородами измеряете, то видно вы бессовестны, для того что голобороды“».

Присовокупление третье составляют «Древние апофегмы» (т. е. мудрые отповеди), почти все они — высказывания различных древних императоров или мудрецов, например: «Кир, древнейший царь персидский, говорил: „Никому бы не надлежало стараться быть госуда-

рем, разве тому, кто бы во всех добродетелях преимуществовал пред своими подданными". Он же на своей гробнице приказал написать: „Кир есмь, завоевавший персидскую империю; прохожий кто б ты ни был, откуда б ты ни шел, не завидуй сей малой частице земли, покрывающей бедный прах мой“». Сюда же примыкает «Епиктетово правоучение» — свод правил, необходимых человеку в жизни (всего их 27).

В четвертом Присовокуплении приведены поучительные разговоры на учебные темы. Один из них — «Разговор, называемый утро между бодрым и сонливым о наставлении, не терять времени напрасно, сокращенный из Ломоносовой Риторике в пользу юношества». Не только здесь, но и во многих других разделах своей книги Курганов популяризирует труды Ломоносова, чьим почитателем и последователем он себя считает.

«Разговор о различении изречения и писания» — своеобразное введение в языкознание. Вначале, правда, дается объяснение происхождения языков из столпотворения вавилонского, но далее автор, хотя и несколько высокопарно, но вполне разумно пишет о пользе учения грамоте: «Писание есть ду-

ша кулечества, образ прошедшего, правило будущего, вестник мыслей, ключ разумения наук и художеств». Курганов высказывает суждение и о том, с каких лет следует учить детей грамоте: «Хотя точно сего определить не можно, однако семилетние дети к тому способны». В этом же разговоре приводятся некоторые сведения о книгопечатании, риторике, пиитике и метрике. Раздел заканчивается объяснением разных родов стихотворных форм (оды, стансы, идиллии, элегии, эклоги и т. д.), как бы предвзято содержание следующего присовокупления.

Пятое Присовокупление — «Сбор разных стиходейств». Здесь даны образцы различных видов поэзии. Стихотворения и песни, подобранные по вкусу Курганова и напечатанные в его «Письмовнике», становятся, таким образом, общеизвестными. Авторов приведенных стихотворений Курганов не указывал. Некоторые из них были его современниками, сочинения других Курганов заимствовал из рукописных сборников, а некоторые, вероятно, сам перевел с иностранных языков. Есть здесь и образцы народного творчества. Это исторические песни о взятии Иваном Грозным Казани, песня о боярине

«На небе их видимо- невидимо»

В статье «От вселенной до молекулы» («Неделя», 1968, № 4) два журналиста (Б. Колтовой и М. Ростарчук) повествуют о своей поездке по Англии,

о встречах с выдающимися учеными, об астрономических исследованиях Г. Брюка и М. Райла, о докторе Перуце и др.

И походя наши журналисты делают поразительное сообщение, говорят о необычайном, никому не известном факте, поистине астрономиче-

ском. В статье буквально сказано: «Представьте себе положение тех, кто занимается звездным хозяйством. На небе их видимо-невидимо».

Коварная вещь — местоимение. И как же оно может подвести, если писать небрежно.

В. О.

Б. П. Шереметьеве и его битве со шведами, или «Что пониже было города Саратова», «За морем си-ничка не пышно была...» и т. д. Стихотворный материал «Письмовника» был очень популярен. Поэтические произведения переписывались в тетради и альбомы, заучивались наизусть как лучшие образцы поэзии того времени. В разделе, отведенном стихотворениям, есть и духовные песни под названием «киевокаликские» (принадлежавшие киевским каликам переходим). С каждым новым изданием количество стихотворений, так же как и повестей, входящих в «Письмовник», увеличивалось.

Присовокупление шестое представляет собой «Обстоятельное изъяснение порядка знаний человеческих или всеобщий чертеж наук и художеств». Систематизируя науки, Курганов делит каждую на три раздела: «История. I — Священная, II — Гражданская, III — Параболическая. Философия. I — Наука о бже, II — Наука о человеке, III — Наука о естестве». Здесь перед нами опыт энциклопедии, в которой собраны важнейшие естественнонаучные и исторические сведения. Большинство таких сведений дается по астрономии, т. е. науке, наиболее близкой Курганову.

Любопытно небольшое наставление — «Признаки о будущих погодах, взятые из достоверных примечаний». Курганов использует многовековой народный опыт: «Радуга всегда либо о минувшем дожде, либо о наступающем знаменует... Когда луна пяти дней, а роги ее туны, — к дождю, а остры — к буре; видимый же около ея красный круг — к дождю и к ветру».

Не менее интересен и «Наказ медицинский», заканчивающий это

Присовокупление. Среди советов есть такие: «Держать всегда в теплоте голову, ноги и желудок... никогда не есть не голодному, не пить без жажды и в обоих быть умеренну и воздержанну... ложиться не поздно и вставать ранее поутру, ибо шесть часов для покоя человеческого довольно».

Последнее, седьмое Присовокупление — «Словарь разноязычный, или толкователь еврейских, греческих, латинских, немецких, французских и прочих иноземных, употребляемых в русском языке и некоторых славянских слов». В большинстве случаев Курганов дает переводы слов, пользуясь обычной разговорной речью. Например: алектор — ‘петух, чочет’, идея — ‘мысль, понятие’, бассейн — ‘бадьа, лохань’, нифик — ‘обезьяна, мартышка’. Иногда он переводит иностранные слова при помощи придуманных им самим толкований или калек: авдитория — ‘слушалище’, актер — ‘представщик’, библиотека — ‘книговник’, микроскоп — ‘мелкозор’ и т. п. Попали в словарь и диалектные слова, переводы которых тоже даны: жеравика — ‘жлюква’, верещага — ‘яичница’ и т. п.

Заканчивается словарь «оговоркой», в которой автор, ссылаясь на авторитет «знаменитого писателя», предостерегает своих читателей: «Восприятие иностранных слов, а особливо без нужды есть не обогащение, но порча языка».

В свое время эта книга пользовалась необыкновенной популярностью. Достаточно сказать, что с 1769 по 1837 год она выдержала одиннадцать изданий. Почти каждое новое издание «Письмовника» в той или иной части дополнялось. Курганов приба-

вил ряд повестей, ввел новый раздел «Рассуждение Сенекино о четырех главных добродетелях». К «чертежу наук» добавил священную историю, нравоучительные размышления из сочинений графа Оксенштирна. Дополнительно были внесены и небольшие познавательные статьи об академической библиотеке, о кунсткамере, о некоторых изобретениях того времени. Уже после смерти Курганова в восьмом издании, вышедшем в 1809 году, неизвестные авторы прибавили в «Письмовник» большой раздел: «Неустранимость духа, геройские подвиги и прамерные анекдоты русских» — 47 рассказов, героями которых в большинстве случаев были Петр Первый и А. В. Суворов.

Курганов видел цель своего труда в расширении просвещения. Заплатительными повестями и стихотворениями он стремился привлечь тех, для кого сам процесс чтения был еще трудноват. Более подготовленным предлагались научные сведения, имевшие определенное познавательное значение. Нередко «Письмовник» для читателей, начинающих приобщаться к культуре, был любимой, а порой и единственной книгой, откуда они черпали самые различные

знания и любопытные сведения. Пушкин в «Истории села Горюхина», показывая своего героя человеком малообразованным и провинциальным, отмечает как характерную деталь то обстоятельство, что он был усердным читателем «Письмовника» Курганова: «Чтение письмовника долго было любимым моим упражнением. Я знал его наизусть и, несмотря на то, каждый день находил в нем новые, незамеченные красоты... Курганов казался мне величайшим человеком».

В год смерти Пушкина русский читатель получил одиннадцатое издание «Письмовника» Курганова.

Со временем стала возможной объективная оценка этой книги. Большое значение ее для того времени отметил в 1841 году А. И. Герцен, справедливо увидевший в «Письмовнике» веку в развитии русской литературы. Он писал: «Между прочим открыл и „Письмовник“ Курганова — этот блестящий предшественник нравственно-сатирической школы в нашей литературе. Богатым запасом истины и анекдотов украсил Курганов мою память».

Кандидат филологических наук
Н. П. ПАНКРАТОВА

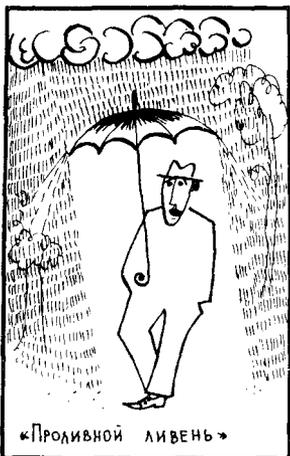
В следующем номере „РУССКОЙ РЕЧИ“
в разделе „Введение в языкознание“
будет опубликована статья Ж. Ж. Варбот
„Этимология“

Начнем сначала?

К нам обратился журналист Н. Ивашин из Стерлитамака с таким письмом: «В печати приходится очень часто встречать выражения *сегодняшний день, начинать сначала, использовать с пользой* и т. д. Очень прошу ответить через Ваш журнал, следует ли считать правильными подобные сочетания из однокоренных слов?».

Прежде всего необходимо отметить, что в принципе употребление однокоренных слов рядом, в одном словосочетании или предложении, несколько не возбраняется. Напротив, такой прием «сознательной тавтологии» широко используется в художественной литературе, в фольклоре. Ср., например, гоголевские выражения *пошлость пошлого человека, живой как жизнь, фольклорные светлым-светло, давным-давно, думу думать, день-деньской, Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается* и т. д. К. Симонов пишет в романе «Солдатами не рождаются»: «Впереди было белым-бело, так бело, что за снегом уже ничего не угадывалось». А В. Шкловский в книге «Лев Толстой» так употребляет глагол *перевязывать* и производные от него: «Он ясно и подробно изобразил, как стреляли солдаты с бастионов из ружей, как перевязывали на перевязочном пункте перевязками и хоронили на кладбище в землю». Подобная тавтология стилистически оправдана как средство эмоционального воздействия на слушателя (читателя). Этот прием можно встретить в ораторской речи, в публицистике.

С другой стороны, в устной речи и в печати (особенно в прессе) часто встречаются и неоправданные тавтологические употребления однокоренных слов, свидетельствующие только о небрежности или бедности речи, например: *разные (или различные) разновидности, прощаемся на прощанье, проливной ливень*. С такого рода очень распространенными стилистическими ошибками («масло масляное») необходимо решительно бороться. Но при этом от них



надо отграничивать те случаи, когда употребление однокоренных слов находит смысловое, семантическое оправдание.

Обратимся, например, к сочетаниям, приведенным в письме Н. Ивашина. Можно ли сказать: *начинать сначала, начнем сначала*? Очевидно, можно: ведь можно и сказать *начнем с середины* или *начнем с конца*. Поскольку само слово *начинать* не обязательно означает 'начинать сначала', то и добавление *сначала* в определенных контекстах будет при этом глаголе нелишним.

Можно ли сказать *использовать с пользой*? В некоторых контекстах можно: допустим, мы хотим подчеркнуть, что кто-то использовал некоторую вещь или некоторое право во вред чему-либо, а другой, наоборот, использовал это с пользой. Надо иметь в виду, что глагол *использовать* в современном русском языке уже несколько разошелся семантически со словом *польза*, от которого он образован. *Использовать* значит не обязательно 'употребить что-либо с пользой', а имеет более широкое значение — 'употребить что-либо для какого-либо дела, найти применение чему-либо'.

Есть, однако, и другая сторона вопроса — эстетическая. Опытный литературный редактор, вероятно, заменит сочетание *использовал с пользой* на *употребил с пользой* или *применил с пользой*. Но это будет сделано не из-за смысловой избыточности одного из однокоренных слов (такой избыточности, как мы показали, нет), а только для устранения неблагозвучности фразы. Впрочем, неблагозвучность — вещь условная. Тот же редактор, видимо, не станет изменять фразу *Пришлось начать сначала*. Дело в том, что сочетание *начать сначала* более обычно в устной и письменной речи, имеет более устойчивую традицию употребления, а значит, и привычнее для нашего слуха, чем сочетание *использовать с пользой*. И уж совсем никаких возражений не вызовет даже у самого придирчивого редактора сочетание *черные чернила* (о нем см. ниже).

Что же касается слов *сегодняшний день*, то они давно и устойчиво употребляются, особенно в канцелярской речи, в сочетании *на сегодняшний день*. Принадлежность входящих в него слов к одному корню не столь очевидна. Наречие *сегодня*, образовавшееся путем сращения из сочетания слов *сего дня*, ныне уж очень нечетко членится на составные части, связь его со словом *день* ослаблена. Поэтому *сегодняшний день* — сочетание столь же законное, как и *вчерашний день* или *завтрашний день*. Другое дело, что выражение *на сегодняшний день* стало сейчас очень распространенным канцеляризмом, и поэтому его следует избегать в повседневной речи и иных (неканцелярских)



стилях языка. Но причина этого, как видим, не в том, что входящие в данное сочетание слова — однокоренные.

Таким образом, вопрос о правильности или неправильности сочетаний однокоренных слов — вопрос сложный, и должен он решаться отдельно для каждого конкретного случая. Безусловно, ошибочны только такие сочетания, как *масло масляное*, *разные разновидности*. В них значение одного из употребленных однокоренных слов уже включает в себя значение второго слова и, следовательно, добавление этого второго слова излишне. В каждом случае надо обращать внимание не только на звуковую близость употребленных рядом слов, но и на их значение и на стилистическую окраску в определенном контексте, учитывая, с одной стороны, правомерность «сознательной тавтологии», а с другой стороны — эстетическую сторону звучания фразы. Звуковое же сходство само по себе обманчиво. Например, мы спокойно говорим *черные чернила*, поскольку есть чернила и красные, и синие, и зеленые... Для нас не важно, что слово *чернила* было когда-то образовано от *черный* и означало только черную жидкость для письма. Важно, что по своему современному значению это слово уже не связывается с прилагательным *черный*. То же относится и к таким сочетаниям, как *варить варенье*, *белое белье*. Ведь варить можно не только варенье, а белье бывает не только белым.

Об этом можно прочесть также в книжке А. И. Аникина «Употребление однокоренных слов в предложении» (М., 1965), где затронутые вопросы рассматриваются подробнее.

Еще о яслях

Читатели «Русской речи» Е. Г. Ромашков из Москвы и С. А. Чистяков из Ленинграда в своих письмах обращают внимание на некоторые реально-исторические факты, объясняющие появление в русском языке второго значения слова *ясли* — «воспитательное учреждение для детей младшего возраста». Эти факты дополняют те сведения об этимологии слова *ясли*, которые были приведены в № 6 нашего журнала за 1967 год.

Дело в том, что второе, новое значение слова *ясли*, первоначально означавшего только «кормушка для скота», пришло к нам с Запада — вероятнее всего из французского языка. Во Франции — стране довольно устойчивых католических традиций — главенствующую роль в воспитании и обучении детей играла церковь, очаги воспитания младенцев организовывались там обычно женскими монашескими орденами. Они были названы *crèche* — «яслями», в память о Христе, который, как явствует из евангельской легенды, родился в пещере для загона скота, где первой его колыбелью были ясли, кормушка.

Этот образ был весьма популярным, излюбленным художниками и поэтами многих столетий, и не только во Франции (несомненно, он подразумевается и во фразе из «Обрыва» Гончарова,

где говорится о том, что Райский родился «не в яслях искусства, а в шелку, в бархате»).

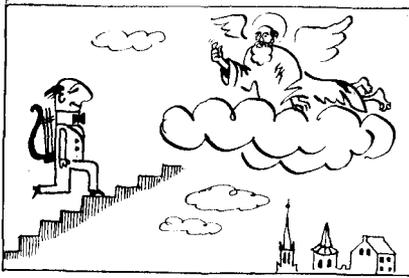
В царской России яслей не было. О том, что они необходимы для народа, заговорили довольно поздно — только на рубеже XIX — XX столетий. Вспомним слова Пети Трофимова из «Вишневого сада» Чехова: «Укажите мне, где у нас ясли, где у нас ясли, о которых говорят так много и часто..?». Понятно, что русская интеллигенция, борющаяся за ясли в России, знающая о существовании яслей в европейских странах и знакомая с французским и другими западноевропейскими языками, тоже стала называть это детское воспитательное учреждение словом, которое было названием кормушки для скота.

Таким образом, наше слово *ясли* — это семантическая калька с французского *сгёше*. Семантической калькой называется такое исконное, природное в данном языке слово, одно из значений которого заимствовано из другого языка.

Детский сад

Е. Г. Ромашков напоминает о том, что и название *детский сад* является калькой (переводом по частям) французского сочетания слов *jardin d'enfants*. В этом названии другого детского воспитательного учреждения тоже отражена христианская легенда, но не евангельская, а апокрифическая (не вошедшая в канонический евангельский текст), — о том, как юный Христос, вырастив сад, пригласил в него детей. У нас эту легенду, популярную в Западной Европе, пересказал в стихах Плещеев, а Чайковский положил стихи на музыку. «Был у Христа-младенца сад» — так начиналось это произведение, составлявшее едва ли не обязательную часть репертуара школьных хоров в дореволюционное время.

Показательно, что те реальные обстоятельства, благодаря которым появились в свое время названия детских воспитательных учреждений — *ясли* и *детский сад*, ныне уже известны немногим. Связанные с христианскими легендами, они были в нашу эпоху довольно быстро и прочно забыты. Этот пример еще раз напоминает нам о том, что происхождение слова обычно не оказывает никакого влияния на его дальнейшую судьбу. Мы продолжаем, например, пользоваться словом *спасибо*, которое когда-то звучало как *спаси бог*, но вовсе не вкладываем в него прежнего содержания — пожелания тому, к кому обращена речь, спасения от бога. Мы постоянно употребляем такие слова, как *воскресенье* (название дня недели) и *крестьянин*, несмотря на то, что первое из них было в прошлом названием религиозного праздника, а второе означало 'верующий во Христа, христианин'. Религиозные верования наших предков ни в коей мере не сказываются на нынешнем употреблении подобных слов, хотя такие слова и обязаны своим происхождением и прошлым семантическим развитием этим верованиям.



Призвание

Р. К. Хафизов из Ленинграда спрашивает редакцию: «Сейчас много говорят о призвании. Не могли бы вы рассказать историю этого слова?»

Слово *призвание* употреблялось в русском языке уже давно. Первоначально оно было названием действия от глагола

призывать ‘пригласить’ и значило буквально ‘приглашение, призыв’; это значение сохранилось у него и до сих пор, хотя употребляется оно и реже, чем разившееся позже новое значение.

Интересно употребление этого существительного в словотолкователе малоизвестных слов XVII века под названием «Алфавит иностранных речей». Здесь при объяснении старинного значения слова *обаяние* ‘колдовство, чародейство’ употреблено также слово *призвание*: «Обаяние — заговор бесовскими призываниями» (т. е. ‘заговор с помощью призывания бесов’).

Новое значение слова *призвание* — ‘природное расположение, склонность, дарование, назначение, предопределение’ — появилось после Петровской эпохи, когда особенно сильно сказалось влияние западноевропейских языков на русский. Возможно оно возникло под влиянием немецкого существительного *Beruf* ‘профессия, призвание’. В этом слове выделяются приставка *be-* и глагольный корень *-ruf* ‘звать’. Первоначально немецкое *Beruf* также употреблялось в качестве отглагольного имени со значением ‘призвание, приглашение, зов’ и только в религиозном смысле — как призыв бога к человеку. Постепенно первоначальная религиозная окраска исчезла, и слово приобрело вполне светский характер.

Значит в слове *призвание* — семантическая калька с немецкого *Beruf*.

Впрочем, возможно, что такое развитие значения могло произойти и на русской почве без немецкого влияния, но тем же путем, что и в немецком. Для выяснения этого вопроса необходимо изучить историю употребления слова *призвание* в письменных памятниках.

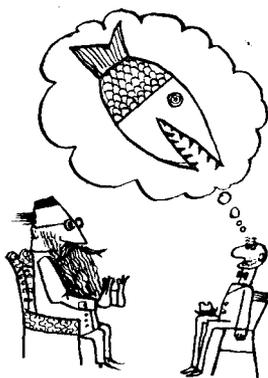
Психология

Читательница Власова из г. Горького пишет: «В последнее время все чаще в нашей печати употребляются сочетания вроде „психология мещанина“, „собственническая психология“ и т. д. Можно ли вместо *психика* применять слово *психология*, т. е. ‘наука о психике’?».

Слово *психология*, помимо основного значения ‘наука о психике как функции мозга, заключающейся в отражении действительности’, имеет в современном русском языке еще и значения ‘совокуп-

ность психических особенностей, свойств, душевный склад, психика»; «совокупность психических процессов, обуславливающих определенный вид деятельности».

Эти значения зарегистрированы в толковых словарях и подтверждаются примерами из произведений Мамин-Сибиряка, Чехова, Куприна, Горького и многих других. Вот некоторые из них: «Живя в городе, трудно понять эту разбойничью психологию» (Мамин-Сибиряк. Разбойники); «Рассказы Горького дают целую галерею типов, рисующих нам самые разнообразные оттенки босяцкой психологии и довольно ясно выраженную эволюцию вида „босяк“» (Воровский. О М. Горьком); «Психология писателя такая, что нет возможности удовлетворить себя сделанным, все, что назади... кажется таким несовершенным» (Пришвин. Журавлиная родина); «Это, должно быть, такая наша, специально женская психология» (Куприн. Прапорщик армейский); «[Горелова]: (засмеялась). Нет! Очевидно, я никогда не пойму своеобразия военной психологии... [Максимов]: Поживете — свыкнетесь» (Лавренев. За тех, кто в море).



Как же появились новые значения у этого слова?

За словом *психология*, которое, действительно, сначала было только названием науки, приблизительно в 70-х годах прошлого столетия стали закрепляться новые значения. По мере накопления научных знаний в этой науке выделились самостоятельные разделы: «детская психология», «психология труда», «психология искусства» и т. д. Понадая из научного обихода в литературный язык, эти сочетания иногда стали употребляться в новом расширительном значении. Постепенно это новое значение закрепилось за ними и одновременно за словом *психология*, которое в подобных сочетаниях терминологического характера играло главную

роль. Это закономерный лингвистический процесс, в результате которого у слов возникают новые значения, — явление метонимии, или перенос названия «по смежности». В данном случае название науки переходит на объект ее изучения. Подобным же образом развивались значения многих других слов, например: фотография — занятие и продукт этого занятия (карточка, фото).

Таким образом, в сочетаниях «психология мецанина», «собственническая психология» слово *психология* употреблено правильно,



Плато

Читатель журнала «Русская речь» ленинградец Я. Б. Зелигер полагает, что «мы являемся свидетелями рождения нового технического термина *плато* в смысле ‘панель, на которой монтируются разные приборы’». Свое предположение Я. Б. Зелигер основывает на фельетоне Ю. Борина «Частник в сфере», опубликованном в «Ленинградской правде» (24 сентября 1967), где написано следующее: «Недоделки, хотя и мелкие, но досадные. Скажем, отсутствует *плато* для выключателей. Вместо *плато* — черная дыра, из которой торчат какие-то оголенные провода. Согласитесь, это некрасиво и даже опасно. Особенно, если в семье есть ребенок: того и гляди, сунет руку и получит удар током.

Мой новосел ринулся было в жилконтору, но в жилконторе вежливо ответили, что никаких *плат* у них нет и не было, а строители должны выполнить свое торжественное обещание».

Из приведенного текста можно уяснить, что слово *плато* здесь обозначает предмет, называющийся в строгом техническом языке *подрозетником*, т. е. небольшой (обычно деревянный) кружок, к которому прикрепляется выключатель, штепсель и т. п.

Плато, как справедливо сообщает Я. Б. Зелигер, не зафиксировано ни в каком словаре или другом справочном пособии, ибо оно взято фельетонистом из просторечия электромонтеров, а не является официально признанным термином или номенклатурным названием.

К сожалению, профессиональная разговорная лексика слабо изучена, хотя ее место в живой обиходной речи значительно. Происхождение *плато*, как любого жаргонизма, трудно установить, однако некоторые лексические сведения могут в этом помочь.

Слово *плато* французского происхождения (*plateau*). Подобно *депо*, *манго*, *табло*, оно не склоняется. В русском литературном языке *плато* прежде всего географический термин. Но в прошлом оно употреблялось еще и в значении ‘подставка подо что-либо’ (об этом сообщается в семнадцатитомном «Словаре современного русского литературного языка»). Теперь этого значения нет в общелитературном русском языке, оно сохранилось в несколько терминологизированном виде в ряде технических отраслей. Так, в часовом производстве словом *плато* называют пластину с углублениями и выступами различной формы, на которой крепятся части механизма часов.

Впрочем, с этим *плато* успешно конкурирует аналогичный термин *платина* (см.: С. В. Тарасов. Технология часового производства. М., 1956).

В радиотехнической промышленности широко употребителен термин *плата*, точнее — *изоляционная плата*. Так называют небольшого размера панель, на которой крепятся отдельные узлы схемы (конденсаторы, сопротивления и т. д.). Именно этот термин применяется в книге Г. И. Гончарова, П. Н. Панчурина и

А. Н. Чиркова «Составление сборочных чертежей приборов», о которой упоминает в своем письме и Я. Б. Зелигер. Однако этот термин имеет и другое применение: «При печатном монтаже пайку осуществляют погружением готовой платы со вставленными деталями (со стороны печатного монтажа) в ванну с расплавленным припоем» (Э. П. Борновоиков. Малогабаритные радиоприемники. М., 1967). Здесь имеется в виду так называемая «печатная плата», внутри которой размещены радиодетали. Но в том и другом случае *плата* имеет сходное назначение.

Есть все основания считать, что термин *плата* создан на основе немецкого слова *die Platte* «плита, пластина, доска» и применяется в отечественной радиотехнике приблизительно с 30-х годов. Просторечное *плато*, видимо, возникло в результате контаминации (скрещивания, смешения) двух слов — *платб* и *платв*.

вичугский или вичужский?

Н. П. Гонобоблев из г. Орджоникидзе просит разъяснить: «Чем объясняется расхождение в образовании прилагательных: *Моздок* — *Моздокский* район, но *калмык* — *Калмыцкая* АССР (с чередованием *к — ц*)? Почему по радио и в газетах допускается прилагательное *вичугский* (от *Вичуга*) вместо *вичужский*?».

Издавна в русском языке при образовании имен прилагательных с суффиксом *-ск-* от основ существительных, заканчивающихся на заднеязычные согласные *к, г, х*, происходило чередование согласных *к — ц, г — ж, х — ш*. Это правило распространялось и на образования от существительных — названий населенных пунктов, рек, стран, народностей. Например: *Яик* — *яицкий*, *калмыки* — *калмыцкий*, *кипчаки* — *кипчацкий*, *чехи* — *чешский*, *варяги* — *варяжский*, *Норвегия* — *норвежский*, *Рига* — *рижский*, *Устюг* — *устюжский*, *Волга* — *волжский*. Такие прилагательные возникли в довольно отдаленные периоды истории русского языка. Но уже в XIX веке это правило стало нарушаться, появились варианты прилагательные без чередования заднеязычных согласных. Наряду со старыми прилагательными от названий городов — *петербургский*, *оренбургский*, *выборжский* — возникли новые — *петербургский*, *оренбургский*, *выборгский*; рядом со старыми — *калмыцкий*, *кипчацкий* — появились прилагательные *калмыкский*, *кипчакский* и т. д.

Исследователи считают, что такое устранение чередований в образованиях от географических и этнических названий было вызвано стремлением сохранить основу этих названий неизменной во всех производных словах. Ведь многие из подобных названий представляют собой экзотические и редкоупотребляемые слова, и чередование в корне затрудняло бы восприятие производных от них прилагательных (см., например, книгу «Изменения в словообразовании и формах существительного и прилагательного в русском литературном языке XIX века». М., 1964).

В наше время чередования сохраняются лишь в части старых прилагательных от географических и этнических названий (волжский, рижский, калужский, слабужский, кондопожский, свияжский и др.); в некоторых случаях наблюдаются варианты прилагательных с чередованием и без него (устюжский — устюгский, оренбургский — оренбургский, вичужский — вичугский, калмыцкий — калмыкский). Но преобладают прилагательные без чередований; ряд этих образований постоянно пополняется новыми словами. Ср., например: Великие Луки — великолукский, Моздок — моздокский, Стерлитамак — стерлитамакский, Хельсинки — хельсинкский, кумыки — кумыкский, лахи — лакский, узбеки — узбекский, таджики — таджикский, каракалпаки — каракалпакский, казахи — казахский, нивхи — нивхский, Ботлих — ботлихский, Хунзах — хунзахский, Лейпциг — лейпцигский, Люксембург — люксембургский, Катанга — катангский.

Однако на прилагательные с суффиксом *-ск-* от основ других существительных, не являющихся географическими или этническими наименованиями, это правило не распространяется. Например, очень последовательно используется чередование перед тем же суффиксом в прилагательных, производных от существительных со значением лица и основой на *-к*: казак — казацкий, кулак — кулацкий, кунак — кунацкий, наборщик — наборщицкий, болельщик — болельщицкий и т. п.

охтинский или охтенский?

С. А. Чистяков обращает наше внимание на другой вопрос, тоже касающийся прилагательных, производных от географических наименований. В таких образованиях, как Охта — охтинский (или охтенский), Гремячий — гремьяченский (или гремьячинский) пишется то *-инск-*, то *-енск-*. Например, в довоенных изданиях справочников по Ленинграду везде писалось *охтенский*, а в послевоенных — *охтинский*. Чем объяснить эту непоследовательность? Какое здесь правило?

Правила никакого, к сожалению, нет. Суффикс *-инск(-енск-)* выступает вместо суффикса *-ск-* в прилагательных, производных от некоторых географических названий, преимущественно женского рода на *-а(-я)*, на *-ы(-и)*, а также от наименований, склоняющихся как прилагательные. При этом чаще пишется *-ин-*: Ялта — ялтинский, Жиздра — жиздринский, Охта — охтинский (по ныне действующей орфографии только так!), Грязи — грязинский, Сочи — сочинский, Мытищи — мытищинский, Ягодное (поселок Магаданской обл.) — ягоднинский. В других случаях по традиции пишется *-ен-*: Пенза — пензенский, Пресня — пресненский, Тосно — тосненский, Лысьва — лысьвенский, Грозный — грозненский, Гремяче (село Воронежской обл.) — гремьяченский, Фрунзе — фрунзенский, Заречье — зареченский. В каждом конкретном

случае написание прилагательного остается только запоминать.

Но существенно, что под ударением в таких прилагательных выступает только суффикс *-инск-*, а *-енск-* в этом положении вы не встретите: Чита — читинский, Караганда — карагандинский, Махачкала — махачкалинский, Балахна — балахнинский, Туапсе — туапсинский. Поэтому и в безударном положении следовало бы везде писать *-инск-*: это было бы единое правило, вполне соответствующее духу русской орфографии. Такое предложение и было выдвинуто недавно Орфографической комиссией при Институте русского языка АН СССР. Полагаем, что о пользе этого предложения не может быть двух мнений.

угольный и угóльный

Д. П. Лисицин (Москва) пишет, что в последнее время в слове *каменноугольный* часто делают неправильное ударение (на втором о), и просит разъяснить, каким образом оно появилось.

Прилагательные с суффиксом *-н-* от слов *угол* и *уголь* различаются по ударению: *уголь* — *угольный*, *каменноугольный*; *угол* — *угóльный*, *треугольный*, *прямоугольный*.

В именах прилагательных с суффиксом *-н-* различаются два типа ударения на основе: 1) на последнем слоге перед *-н-* и 2) на любом слоге основы. Первый наблюдается у прилагательных, образованных от имен существительных, имеющих ударение на окончании хотя бы в части падежных форм единственного или множественного числа: *высо́тный* (высо́та, высо́ть), *широ́тный* (широ́та, широ́ть), *глуби́нный* (глуби́на, глуби́нь), *колёсный* (колёсо, колёса) и т. п. К этому типу относится и *угóльный* (угол, углó).

Ко второму типу относятся прилагательные, образованные от имен существительных с ударением на основе во всех падежных формах единственного и множественного числа. В этом случае у прилагательного и ударение падает на тот же самый слог, что и в производящем имени существительном: *ка́верзный* (ка́верза, ка́верзы, множ. число: ка́верзы, ка́верз), *ко́нтурный* (ко́нтура, ко́нтуры, ко́нтуров) и т. п. Сюда же относится и слово *у́гольный* (у́голь, у́гля, множ. число: у́гли, у́глей). Следует заметить, что в слове *у́голь* возможно ударение и́ на окончании: *у́гля, у́гли*, но оно в выборе ударения прилагательного не участвует. Вероятно, «запрет» на ударение *угóльный* от *у́голь* вызван стремлением избежать омонимии с прилагательным *угóльный* от *у́гол*. Двойное ударение в производящем слове *уголь* — *у́гля* и *у́гля* может, однако, явиться источником ошибки в ударении прилагательного, которую заметил Д. П. Лисицин.

Г. Н. Иванова (Москва) интересуется ударением в некоторых глагольных формах и просит привести в ответе аналогичные примеры.

попёрчи или поперчѣ?

Глаголы на *-ить* с основой на одну согласную в повелительном наклонении имеют *-и*, если в настоящем времени изъявительного наклонения ударение на окончании, хотя бы в части форм: *носи́, роди́* (ср.: *ношу́, рожу́*) и т. п. Если же в настоящем времени изъявительного наклонения ударение на корне, то в повелительном этого *-и* нет: *брось, верь* (ср. *брóшу, вéрю*). Однако если основа заканчивается двумя согласными, независимо от ударения *-и* выступает всегда. При ударении на основе в изъявительном наклонении ударение в повелительном также на основе: *ва́кси* (ср.: *ва́кшу, ва́ксишь, ва́сила*), *пѹдри* (ср.: *пѹдрю, пѹдришь, пѹдрила*) и т. п. Поэтому правильно *пѣрчи* (ср.: *пѣрчу, пѣрчила* и т. д.). Источником ошибки в ударении может явиться окончание *-и*, которое в глаголах с основой на одну согласную возможно лишь под ударением.

кля́ла или кляла̀?

Глагол *клясть* относится к таким глаголам, которые в настоящем времени и повелительном наклонении имеют ударение на окончании или суффиксе, а в прошедшем времени — на корне: *кладу́, кладѣт, кладѣи́, кладу́щий, кля́ла, кля́вший* и т. д. Такое ударение всего у пяти глаголов: *грызть, класть, красть, пасть* и *стричь*.

со́пел или сопѣл?

Как будет родительный падеж множественного числа от слова *сопло*? Об этом спрашивают нас работники Конструкторского бюро химического машиностроения.

Здесь затронут один из сложных и спорных вопросов развития норм современного литературного языка, касающийся не только указанного слова. Действительно, какую форму предпочесть: *дѹпел* или *дупл*, *ремѣсел* или *ремѣсл*, *дышел* или *дышл*, *рѹсел* или *русл*? Академическая «Грамматика русского языка», отмечая колебания *дѹпел* и *дупл*, *ремѣсел* и *ремѣсл*, указывает, что в современном языке стали предпочитаться более короткие формы, т. е. *дупл*, *ремѣсл*. Д. Э. Розенталь в книге «Практическая стилистика русского языка» (М., 1965) полагает, что в книжной речи обычно встречаются формы *дѹпел*, *ремѣсел*, а в разговорной, наоборот, *дупл*, *ремѣсл*.

Однако эти рекомендации не всегда подтверждаются свидетельствами современных словарей и словоупотреблением авторов-современников. Так, в «Словаре современного русского литературного языка» в качестве единственной нормы приводится только *дѹпел*,

ремёсел. Эти и подобные формы отмечены у многих писателей: *дупел* (Пастернак), *русел* (Обручев, Галактионов), *ремёсел* (Горький, Эренбург и др.). Ср., например: «Мальчик быстро усвоил начатки несложных домашних ремесел» (Б. Полевой. Золото); «Из десятка ремесел, которые знал Суров, в городке больше всего пригодилось уметь шить обувь» (Саянов. Лена); «Кузнечное ремесло Крямчук ставил выше всех других ремесел» (Рыленков. Сказка моего детства).

Хотя у современных авторов можно встретить и более короткие формы *дупл*, *ремёсл*, *русл* и т. п., говорить о предпочтительности форм без вставного гласного пока, видимо, еще преждевременно.

Сейчас, таким образом, допустимы оба написания — *сопел* и *сопл* (что и подтверждается употреблением обеих форм в технической литературе). Возможно, впрочем, что форма *сопл* окажется более перспективной. Ср., например, *сверлб*, родительный падеж множественного числа — *свёрл* (неправильной: *свёрел*).

Белых, Красных

Особую группу фамилий в русском языке составляют фамилии на *-ил*, *-ыл*, широко распространенные в Сибири: Седых, Белых, Черных, Красных, Сухих, Долгих, Равенских и т. п. Читатель Я. М. Говорухо (г. Кострома) просит ответить на вопрос, следует ли склонять такие фамилии.

«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»

В № 12 «Вопросов литературы» за 1967 год опубликовано письмо Я. Строчкова «Как пишется РАПП?» со следующим примечанием: «Публикуя письмо Я. Строчкова, редакция принимает критическое замечание, высказанное в нем, и признает рекомендацию автора справедливой» (стр. 171).

Что же советует Я. Строчков?

Имея в виду слово РАПП, он пишет: «В современном русском литературном языке так же аббревиатуры женского рода (разрядка моя.— Э. Х.) не склоняются: КПСС, ГДР, МТС, ООН (партия, республика, станция, организация)... Современный литературный язык отдает твердое предпочтение смыслу, а не звучанию сокращенных слов: роно и МООНО — мужского рода; ФБОН (Фундаментальная библиотека об-

щественных наук) и ВАК (Высшая аттестационная комиссия) — женского рода; ОЛЯ (Отделение литературы и языка) — среднего рода; ГАИ, МАИ, ЦДРИ, ВИНТИ — единственного, а не множественного числа.

РАПП и аналогичные аббревиатуры, довольно ходкие в 20-е и 30-е годы, сейчас являются достоянием языка специалистов. Нужно ли для них делать исключение из общих норм литературного русского языка?» (стр. 172).

Нельзя признать рекомендацию Я. Строчкова справедливой.

Во-первых, с морфологической точки зрения (т. е. с точки зрения грамматических категорий рода, числа, падежа), в области аббревиатур есть много переходных случаев (например, ГЭС, роно, ООН) и немало случаев колебаний, сосуществования двух вариантов (примеры колебаний приводит и сам Я. Строч-

В справочниках, разбирающих правила склонения имен и фамилий, указывается, что фамилии на *-их*, *-ых* не склоняются (см., например: Д. Э. Розенталь. Справочник по правописанию и литературной правке. М., 1967, стр. 223). Несклоняемость таких фамилий объясняется исторически: по форме они представляют собой родительный падеж множественного числа прозвища. Первоначально оно было прилагательным, называющим определенное качество: дочь Красных, сын Мокрых и т. п. Из подобных прозвищ-прилагательных в родительном падеже единственного числа возникли несклоняемые фамилии на *-аго*, *-яго*, *-овб*: Мертваго, Дубяго, Дурново и др.

Следовательно, по литературной норме нужно писать и говорить: письмо от Черных, к Петру Белых. Однако в разговорной речи фамилии на *-ых* нередко склоняются; говорят: у Черныха, с Чернымом и т. п. Вероятно, склонение таких фамилий возникает по аналогии со склоняемыми фамилиями на согласную иного происхождения, например: Фитих — у Фитиха, Булах — к Булаху, Маневич — от Маневича.

Склонение иностранных имен

Н. П. Гонобоблев обращает внимание на то, что в собственном имени *Гамаль Абдель Насер* обычно склоняется только последняя часть (фамилия). Такое употребление кажется ему ошибочным.

ков): литературного и просторечного или делового и нейтрального.

Во-вторых, Я. Строчков не учитывает того, что установлено и общепринято в языкознании. Он объединяет три разных вида инициальных сложносокращенных слов (аббревиатур): звуковой, буквенный и смешанный.

Вот что пишет академическая «Грамматика русского языка» (т. I. М., 1952) о первом виде: это «сокращения, сохраняющие в своем образовании лишь начальные звуки каждого слова, входящего в состав... образования». Такие сложносокращенные слова произносятся, как обычные слова, состоящие из данных звуков, напр.: вуз (высшее учебное заведение), гост (государственный общесоюзный стандарт), дот (долговременная огневая точка), рик (районный исполнительный комитет)» (стр. 279).

РАПП, ТАСС, ВАК — это звуковые

аббревиатуры. Они произносятся, «как обычные слова», и склоняются, как обычные слова, и род имеют, как обычные слова. Вот почему никого не удивляет формула «ТАСС уполномочен заявить...» или такое предложение «Прямым попаданием снаряда дот был уничтожен». Если же верить Я. Строчкову, то следовало бы говорить и писать: «ТАСС уполномочено заявить...» (ведь *агентство* среднего рода), «дот была уничтожена», или «нэи существовала...».

Но звуковые аббревиатуры, оканчивающиеся на согласный звук, не могут быть, по норме современного литературного языка, ни женского, ни среднего рода: как и обычные слова, они мужского рода.

В книге профессора И. Г. Голанова «Морфология современного русского языка» (М., 1965) читаем: «Сложносокращенные слова, заканчивающиеся не цельным словом, а частью,

Читатель совершенно прав. Имя и фамилия президента ОАР должны склоняться во всех своих частях (Гамалю Абделя Насера, Гамалю Абделю Насеру...), как и любое собственное имя мужского рода на согласный: «Встретил Уинстона Черчилля», «Разговаривал с Дуайтом Эйзенхауэром» и т. п.

Несклонение имен *Гамаль Абдель*, постоянно встречающееся в газетах, противоречит грамматической норме современного русского языка, в соответствии с которой заимствованные существительные мужского рода, оканчивающиеся на согласный, склоняются. Употребление *Гамаль Абдель Насеру* тем более противоречиво, что фамилия в этом сочетании во всех случаях склоняется.

Яго, Конго

«Мне случалось слышать, как по радио некоторые дикторы произносят *Конга* вместо *Конго* и *Яга* вместо *Яго*. Такое произношение «режет слух». А может быть, они правы и не нужно в данном случае четко произносить это безударное *о*?» (из письма А. И. Вехвиляйнен, г. Ленинград).

На вопрос, какое из произношений правильное: *Яго*, *Конго* или *Яга*, *Конга* — можно дать один ответ: первое. Произношение *Яга*, *Конга* признается нелитературным. Наблюдения над речью дикторов Всесоюзного радио, которые велись в Институте русского языка АН СССР, показали, что радиодикторы в конце заимствованных слов (корней) произносят *о*: Кастро, Конго, Динамо, Нато, Гастелло, Палермо, Тито, Радиостанция, неофашистский, геофизика, химиотерапевтическое. Отступление от этой нормы встреча-

склоняются в том случае, если они имеют на конце согласный звук и напоминают существительные мужского рода вроде *дом*, *стол*, *воз*: ...МХАТ, МХАТа, МХАТом...» (стр. 90).

Другое дело — буквенные аббревиатуры, «сокращения, составленные из начальных согласных и реже гласных букв. Такие сложносокращенные слова произносятся по названиям букв...» («Грамматика русского языка», стр. 279): КПСС, ГДР, МТС.

Здесь не «обычные слова», а так сказать, звучащие единицы алфавита. Здесь действительно отсутствует изменение по падежам (но вовсе не из-за «твердого предпочтения смысла»: значение существительного не мешает ему склоняться). Здесь грамматический род определяется не звучанием слова, а грамматическим родом главного компонента в производящем, мотивирующем сочетании,

например: машинно-тракторная станция, Центральный Комитет — МТС (женский род), ЦК (мужской род).

Наконец, смешанный вид аббревиатур — это «сокращения, образованные из начальных согласных и гласных, произносимых частью по звукам, частью по названиям букв» («Грамматика русского языка», стр. 279): ЦДРИ, ЦДСА — це-дри, це-дэ-са. Грамматический род таких аббревиатур также определяется грамматическим родом главного слова исходного словосочетания.

Итак, аббревиатура РАПП в современном русском литературном языке мужского, а не женского рода, оно изменяется по падежам (РАППа, РАППу и т. д.) и не должно быть смешиваемо со сложносокращенными словами вроде МТС и ЦДРИ.

Кандидат филологических наук
ЭР. ХАНПИРА

ется в их речи крайне редко. К тому же и в этих случаях произносится обычно не *a*, а другой звук. Автор письма полагает, что существует только два решения вопроса: либо *Конго*, либо *Конга*. Однако это не так. Наряду с *o* в конце подобных слов может произноситься краткий звук, средний между *a* и *ы* (в транскрипции он обозначается *ъ* или *э*). Это тот же самый звук, что слышится в конце слов: сено, дерево, железо, пиво, озеро.

Таким образом, заимствованные слова могут произноситься двояко: или с *o* (*Конго*, *Нато*, *Динамо* — такое произношение характеризует преимущественно строгий произносительный стиль), или с *ъ* (*Конгъ*, *Натъ*, *Динамъ* — характерно для нейтрального стиля, для повседневной речи).

На письма читателей ответили сотрудники Института русского языка АН СССР К. С. Горбачевич, Л. П. Калакуцкая, С. М. Кузьмина, В. В. Лопатин, Л. К. Максимова, М. Г. Николаева, В. П. Петушков, В. А. Редькин, преподаватели МГПИ им. В. И. Ленина И. Г. Добродомов, А. К. Панфилов.